

# СТАЛИН



АВТОБИОГРАФИЯ

РИЧАРД ЛУРИ

**«РОМАН РИЧАРДА ЛУРИ –  
ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ  
СОБЫТИЙ ПРОШЛОГО ГОДА.  
ПЕНЯЙТЕ НА СЕБЯ,  
ЕСЛИ ОН ПРОЙДЕТ МИМО ВАС».**

*Ди Цайт, Германия*

**«ТРАГИЧЕСКИЙ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РОМАН.  
ПОРТРЕТ ГЕРОЯ СЛЕДУЕТ ЗА ВАМИ,  
КАК НЕОТСТУПНЫЙ ПРИЗРАК.  
ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛ ТОЛЬКО РОМАН!»**

*Уолл-стрит Джорнел, США*

**«ПРЕКРАСНО НАПИСАНО!  
Я НЕ МОГ ОТЛОЖИТЬ РОМАН В СТОРОНУ,  
НЕСМОТРЯ НА КОШМАРЫ, КОТОРЫЕ  
НЕ ОТПУСКАЛИ МЕНЯ НИ НА МГНОВЕНИЕ».**

*Чеслав Милош*

**ИСТОРИЧЕСКИ ТОЧНО... ЗЛО И СТРАШНО...»**

*Сол Беллоу*

**«ЛЕДЕНЯЩАЯ ДУШУ ЭКСКУРСИЯ  
В МЫСЛИ БЕЗУМЦА».**

*Хьюстон Кроника, США*

**«КНИГА ЛУРИ –  
РЕЗУЛЬТАТ ГЛУБОКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.  
ОНА НЕ ТОЛЬКО УВЛЕКАТЕЛЬНА,  
НО И ЧРЕЗВЫЧАЙНО ИНФОРМАТИВНА».**

*Байрише Рундфунк, Германия*

**«ЛУРИ УМЕЛО СПЛЕТАЕТ ВОЕДИНО  
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ, ВЫМЫСЕЛ  
И РАЗМЫШЛЕНИЯ О МОТИВАХ И ТАЙНАХ  
ЭТОЙ УЖАСАЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ.  
“АВТОБИОГРАФИЯ ИОСИФА СТАЛИНА”  
ЧИТАЕТСЯ КАК ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ  
ДЕТЕКТИВНЫЙ РОМАН...»**

*Ди Цайт, Германия*

**РИЧАРД ЛУРИ**

# **СТАЛИН**

**АВТОБИОГРАФИЯ**

**ЗАХАРОВ • МОСКВА • 2000**

УДК 882-312.6

ББК 84Р

Л 82

**The Autobiography of  
JOSEPH STALIN**

*A novel by RICHARD LOURIE*

Washington, D.C., Counterpoint, 1999

*Да исчезнет навеки дух, вселившийся в меня  
и заставивший написать эту книгу.*

Автор

Иллюстрация на обложке —  
фрагмент картины  
Виталия Комара и Александра Меламида  
«Происхождение соцреализма»  
(собственность Р. и Ф. Фельдман)

ISBN 5-8159-0062-1

© Richard Lourie, автор, 1999

© А.А.Файнгар, перевод, 1999

© И.В.Захаров, русское издание, 2000

*Злая воля — причина злых деяний,  
но ничто не может служить причиной злой воли.  
Потому что когда воля покидает то, что выше ее,  
и превращается в то, что ниже,  
она становится злом — не потому,  
что превращается во зло, а потому, что порочно  
само превращение.*

**Святой Августин.**  
*Град Божий*

«Агония была страшной, она душила его прямо на глазах. В последнюю уже минуту он вдруг открыл глаза. Это был ужасный взгляд — то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью... Затем произошло что-то непостижимое и ужасное, чего я по сей день не могу забыть и понять...

Он вдруг поднял кверху левую руку и не то указал куда-то вверх, не то погрозил всем нам. Жест был непостижим и полон угроз».

**Светлана Аллилуева.**  
*Двадцать писем к другу*

«Так вот, после перестройки и прочего они издали книгу Светланы «Двадцать писем к другу», и поскольку я отвечал за обслуживание сталинской дачи и хорошо знал самого Хозяина, я решил прочитать ее и посмотреть, что она пишет о своем отце. Когда я прочитал то место, где она рассказывает о смерти Хозяина, я подумал про себя: может быть, он просто показал на потолок. Короче говоря, с помощью старых связей я проник на дачу и прокрался наверх. И что же я там нашел? Собственную сталинскую автобиографию. Сначала я сказал себе, что это, наверное, подделка, но, прочитав, сказал: нет, только сам Хозяин мог это написать».

**Иван Н.,**  
**бывший сотрудник ХОЗУ КГБ.**  
*Из интервью*

**ЧАСТЬ**

**I**

# 1

## **Троцкий хочет меня убить.**

У него есть для этого и поводы, и основания. Не останавливаясь ни перед чем, я победил его в схватке за власть после смерти Ленина в 1924 году. Я исключил его из партии. Я выслал его из Москвы. Я выслал его из России. Я преследовал его по всей Европе и вынудил его в этом году искать убежище в Мексике.

Я уничтожаю его организацию, ликвидирую его сторонников. С его точки зрения, я «предал» Революцию и запятнал ее честь неслыханными преступлениями.

Миссия Троцкого как коммуниста состоит в том, чтобы спасти от меня Советскую Россию. Он знает, что он единственный человек в мире, способный выполнить эту задачу. Гитлер может вторгнуться в Россию и сжечь Москву дотла, но Гитлер никогда не сможет занять мое место в Кремле. А Троцкий может. И он верит, что должен это сделать.

Он должен меня убить во имя прошлого. Он должен меня убить во имя будущего. Одним словом, он должен меня убить во имя истории. А ведь история — это наша стихия, наше божество.

Но как именно попытается он меня убить? Вот в чем вопрос. Нужно быть болваном, чтобы уповать на



один-единственный способ. Как бывший руководитель Красной Армии, Троцкий знает, что победа в бою является результатом использования всех доступных средств, примененных в должное время в должной последовательности, — артиллерии, кавалерии, пехоты. Итак, чтобы добраться до меня, он пойдет на все что угодно: проникновение в наркомат внутренних дел, разложение армии, подстрекательство рабочего класса, подкуп моей охраны, вербовку моих поваров и дегустаторов, моих врачей и дантистов. А я буду дурак вдвойне, если не стану исходить из предположения, что Троцкий нанесет мне удар всеми этими способами.

Но пока Троцкий выбрал другое направление для того, чтобы меня уничтожить, и, хотя он сам этого полностью не сознает, это самый верный способ из всех. Троцкий пишет мою биографию.

Да, русские придают литературе огромное значение, они даже отправляют в ссылку и убивают своих писателей, но не слишком ли это — чтобы великий Сталин боялся книги? Отнюдь нет, не слишком.

Хотя он лишь приступил к написанию, ясно, что книга Троцкого обо мне будет представлять собою попытку уничтожить меня как личность и обвинить во всех грехах. Я, конечно, человек обидчивый, но я в состоянии выдержать его личные нападки. Почти все преступления, в совершении которых он меня обвинит, давно являются достоянием общественности, и этого я не боюсь. В самом деле, некоторые преступления должны стать общеизвестными, если они рассчитаны на определенный эффект, хотя я всегда делал все возможное, чтобы скрыть мою личную ответственность завесой некой двусмысленности. Дескать, это не вина Сталина, просто НКВД переусердствовал и так далее.

Но есть и такие преступления, что должны навсегда остаться неизвестными. В моем случае есть пре-

ступление, которое должно остаться таким навечно. Сочиняя мою биографию, Троцкий инстинктивно будет его искать — то единственное преступление, разоблачение которого разрушит мистику моей власти. В конце концов, что такое власть, как не экстаз покорных? Конечно, власть не сводится к физической силе. Меня убить так же легко, как и любого другого человека. При моем росте менее 165 сантиметров это вообще нетрудная задача. Сильный мужчина может задушить меня ночью. Повар может подсыпать яд, когда готовит мне еду. Почему этого еще не случилось? Потому что пока не произнесено слово, способное снять чары.

Сама логика обстоятельств и жизни Троцкого вынуждает его убить меня; всякий раз, когда он подносит перо к бумаге, он ищет слова, способные снять эти чары и свалить меня.

Поэтому, хотя 37-й год принес колоссальные проблемы — организацию террора, управление страной, приспособление к угрозам Гитлера, — ничто в целом мире не представляет для меня большей проблемы, чем то, что пишет обо мне Лев Давидович Троцкий.

Благодаря преданным мне товарищам я регулярно читаю фрагменты своей биографии, которую он пишет и которую он назвал с выразительной простотой: СТАЛИН.

Его прислуга в Мехико, урбанизированная крестьянка, ныне пролетарка, радикализованная переездом в город, умеет микрофильмировать не хуже, чем убираться по дому. Я представляю себе Троцкого, как он поднимает глаза от письменного стола, когда она входит, чтобы опорожнить корзину для бумаг. Он смотрит на нее невидящими глазами. Она для него — пустое место, к тому же непривлекательна внешне. Может быть, он улыбается, может, кивает головой и снова весь уходит в работу. Троцкий опять допускает ту же фатальную ошибку, которую он

совершил при нашей первой встрече тридцать лет назад в Лондоне, в 1907 году, когда, беседуя с Лениным, он проскочил мимо меня, как будто я какая-то вешалка.

И сейчас он ведет себя точно так же. Я говорю это потому, что могу заглянуть в его кабинет глазами этой женщины. Я по-прежнему в его кабинете рядом с ним, а он по-прежнему меня не видит.

Мои подозрения в его злом умысле сразу же оказываются вполне оправданными. Заявив, что он будет «объективен» и не упустит ни единого факта, говорящего в пользу героя его книги, он тут же обрушивается на этого героя. Великие люди — мастера «живого слова», говорит Троцкий, относя к этой категории Ленина и Гитлера. Но Сталин?

«В этом отношении Сталин представляет собой явное исключение. Он не мыслитель, не писатель, не оратор».

Когда Троцкий говорит, что Сталин не мыслитель, он на самом деле хочет сказать, что Троцкий в этом отношении на голову выше его. О чем бы ни говорили эготисты, они всегда говорят прежде всего о себе.

Если быть мыслителем — значит сравнивать, что один немецкий философ сказал о другом немецком философе, и делать из этого собственные умозаключения, то Троцкий лучший мыслитель. Но если быть мыслителем — значит использовать ум для достижения своей цели, тогда Сталин лучший мыслитель, чем Троцкий. Мы оба стремились к одной цели, к тому единственному, что чего-то стоит в России, — завладеть Кремлем. Я этого добился, а Троцкий разводит кроликов в Мехико.

А когда Троцкий утверждает, что Сталин не оратор, он на самом деле удивляется, как это могло случиться, что он, пользовавшийся репутацией великого оратора, оказался в такой дали от России, что голос его не доносится сюда даже в виде шепота.

Прежде всего, он не был таким уж великим оратором. Согласен, во время Революции и Гражданской войны он умел поднять рабочих на бунт и солдат в атаку. Но это умели делать многие, тем более что рабочие были готовы восстать, а солдаты сражаться. Иначе не было бы никакой революции. Как марксист, Троцкий хорошо это понимает.

Но даже если рабочие и солдаты созрели для революции, успешной революции не могло быть, если бы Коммунистическая партия не была готова ее возглавить; это показали все предыдущие бунты и революции. Решающим фактором была Коммунистическая партия, и истинным испытанием любого оратора является его умение воздействовать на этот решающий фактор.

Но Троцкий не пользовался большим успехом среди товарищей.

Для еврея у него был слишком правильный русский язык, и он умел говорить часами, брызгая слюной, когда приходил в возбуждение, и поучающе размахивая указательным пальцем. И что же он делал после четырехчасовой блестящей речи? Он уходил со сцены и куда-то исчезал. Как ангел небесный, который приносит весть и испаряется. Ангелы не остаются среди людей, не интересуются здоровьем их родителей, не делят с ними табачок.

Товарищи такого не любят. Товарищи не верят в ангелов.

У Троцкого острый ум, он ироничен, но не умеет шутить. А товарищи ценят хорошую шутку.

В те дни, когда товарищи не стремились еще завоевать мое расположение, они говорили, что предпочитают мое умение суммировать проблему в нескольких точных словах, которые остаются в памяти. Троцкий произносил речи, я завоевывал союзников.

Так кто же был способен на «живое слово»?

«Живое слово» было у Сталина.

И еще Троцкий ошибается, считая, что он лучший писатель, чем я.

Как коммунист, Троцкий понимает, что значение литературы определяется исключительно тем, насколько хорошо она служит делу. Его сочинения лишены всякого смысла хотя бы в силу того, что его дело проиграно. Но тот факт, что Троцкий остался в одиночестве и пребывает в изгнании, окруженный горсткой преданных сторонников, несколько меня не успокаивает. Ленин тоже был в одиночестве и жил в изгнании, окруженный горсткой преданных сторонников, но он перевернул Россию.

Самое главное — это воздействие. С этой точки зрения все тома Троцкого не стоят четырех стихотворных строчек, которые я написал в юные годы:

*И знай: кто пал, как прах, на землю,  
Кто был когда-то угнетен,  
Тот станет выше гор великих,  
Надеждой яркой окрылен.*

Эти строки передают состояние духа грузинского юноши, которому суждено было подняться из бедности и неизвестности и стать правителем всей России. Столь мощно было устремление этого юноши! Кто и когда в мире отваживался высказать такую надежду? И вовсе не будет преувеличением, если ученые скажут, что в юные годы Сталин был «поэтом надежды».

Никакие другие стихи, ничто, написанное Гомером, Шекспиром или Пушкиным, не сыграло такой роли в делах человеческих, как эти четыре строки. В один из самых мрачных моментов моей жизни, когда мною владели сомнения и отчаяние, эти четыре строки дали мне силы совершить то единственное преступление, до раскрытия которого Троцкому не суждено дожить.

# 2

**Итак, в юности я писал стихи.**

Затем в поисках приключений я стал преступником.

Наконец я стал революционером, потому что только в революции сливаются воедино поэзия и преступление.

Такова диалектика моей жизни. Остальное — детали. Но Троцкий пользуется этими деталями, как пулями, нацеленными в меня в попытке меня уничтожить. И что еще важнее, он роется в этих деталях, пытаясь найти ключ к моим преступлениям в чертах моего характера. Кто знает, быть может, какой-нибудь темный факт из моего детства в конце концов натолкнет его на этот ключ.

Как положено следователю, Троцкий задает обычные вопросы: имя? Дата рождения? Место рождения?

Но не нужно быть следователем, чтобы узнать: я, Иосиф Виссарионович Джугашвили, родился 21 декабря 1879 года в той части царской империи, что именуется Грузией, в городе Гори, высоко в горах Кавказа, который Троцкий называет «гигантским этнографическим музеем» турецкой, армянской и персидской культуры. Но по-видимому, он так и не узнал про старое персидское поверье, что мальчики, родившиеся 21 декабря, в день самой длинной ночи,

должны быть умерщвлены при рождении; когда я узнал об этом в возрасте восьми или девяти лет, я весь содрогнулся от ужаса и восторга одновременно. То было знамение.

Троцкий продолжает снимать слой за слоем покров, под которым, по его словам, я скрываюсь многие годы. Сталин хочет выдать себя за русского, хотя на самом деле он грузин. И даже не настоящий грузин!

Хотя Троцкий и утверждает, что он не желает «слишком глубоко погружаться в неблагоприятную национальную метафизику», фактически он абзац за абзацем посвящает вопросу грузинского национального характера: «доверчивый, впечатлительный, порывистый...», люди, которым присущи «веселый нрав, общительность и прямота...». Следовательно, я не грузин.

Троцкий цитирует различных «авторитетов», чтобы доказать: либо моя мать, либо мой отец были осетины, то есть люди «грубые и неотесанные». Это та же легенда, на которую ссылается поэт Мандельштам, еще один еврей, не знающий чувства меры, в строчках обо мне; он был арестован после того, как прочитал их в узком кругу своих близких друзей:

*У него что ни казнь, то малина,  
И широкая грудь осетина.*

Но все эти этнические тонкости в рассуждениях Троцкого бьют мимо цели. Он хочет доказать, что я «азиат», «Чингисхан». Он прямо говорит об этом: «Частые кровавые набеги на Кавказ Чингисхана и Тамерлана... оставили след в характере Сталина».

В России даже древняя история может быть опасной. А для нас, выросших на Кавказе, Чингисхан вряд ли относится к древней истории. Во многих долинах до сих пор сохранились высокие, красивые каменные башни, люди строили их, чтобы находить в них убежище, совершать из них набеги, а с их верха по-

сылать кострами предупреждающие сигналы о вторжении Золотой Орды. Чингисхан уникален в том отношении, что он единственный, кому удалось завоевать Россию; это доказывает, что Россия, великий приз, не доставшийся Наполеону, могла быть завоевана только выходцем из азиатских песков. Хотя Чингисхан был более терпим к местным религиям, чем римляне, для «европейского» интеллектуала в пенсне и с козлиной бородкой вроде Троцкого Чингисхан прежде всего символ чудовишной безжалостности. Чингисхан был способен на все. Сталин подобен Чингисхану. Поэтому Сталин способен на все, даже на это. Но Троцкий до сих пор не нашел ключа, чтобы объяснить, что скрывается за словом «это».

Троцкий продолжает говорить о Сталине: «Даже по своему физическому типу он вряд ли являет собой типичный экземпляр своего народа, который считается красивейшим на Кавказе». Это уже дурной тон. Троцкий получает патологическое удовольствие, описывая мои физические недостатки — следы оспы, усохшую левую руку, два сросшихся пальца на левой ноге. Говоря о моих многочисленных арестах царской охранкой, он пишет: «В перечне особых примет Сталина, составленном царскими жандармами, усохшая рука не упомянута, а сросшиеся пальцы зафиксированы один раз в 1903 году».

Усохшая рука явилась следствием тяжелой болезни, заражения крови. Я лежал в кровати, прислушиваясь к биению моего сердца, возбужденного ядом и все быстрее и быстрее разгонявшего яд по всему телу. Медленно дыша и отсчитывая удары, я пытался замедлить сердцебиение, но тщетно. Яд способен превратить во врага даже собственное сердце.

Лежа во влажной от пота постели, я слышал запах поджариваемого лука. Я хотел сказать матери, что мне становится хуже от этого запаха, но губы мои не складывались в слова, даже когда она стояла рядом.



Видя, что я хочу что-то сказать, она падала на колени, целовала крест, что висел у нее на шее, и молилась обо мне: «Пожалуйста, Господи, пожалей моего единственного сына Иосифа, я назвала его в честь земного отца Твоего, единственного сына, и я отдам моего сына Твоей церкви, чтобы он стал священником и прославлял Твое святое имя».

Мы с матерью были привязаны друг к другу, хотя бы потому, что отец редко бывал дома. Я играл один и много времени просто смотрел на горы. Как только я начал выходить за порог дома, я видел эти горы, темные и могучие, они со всех сторон окружали город. На склоне одной из гор были развалины замка. Я не мог дождаться, когда вырасту большим и сильным и заберусь туда, где когда-то жил великий правитель. Я придумывал истории о том, что случится, когда я попаду в замок, — истории, замешанные на сказках, которые рассказывала мне мать. Голова моя наполнилась легендами.

В иные дни я забывал про горы и замок и смотрел, как над горами, взмывая выше самой высокой из них, с видом непререкаемого превосходства парят горные орлы.

Я выходил утром из дома с плоской хлебной лепешкой — весь мой завтрак. Моя мать, пахнувшая мылом и паром, прекращала стирку, которую брала на дом, чтобы свести концы с концами, и тоже выходила на порог, клала руки мне на плечи. По одному ее прикосновению я понимал, что она чувствует. Если она вспоминала троих своих детей, родившихся до меня и умерших, ее пальцы лишь напрягались на моих плечах. А если она гордилась мною и хотела, чтобы я думал о Боге, который создал небо и горы, она сжимала меня крепче. А если просто хотела вдохнуть утренний воздух, руки ее лежали мягко, как на перилах.

Иногда она пела. Негромко, только для меня, и это было красиво.

Ее пальцы всегда сжимались, если она слышала цокот копыт. Мы жили в доме под номером 10 по Кафедральной улице, в той части города, что называлась Русским кварталом, потому что там стояли гарнизоном русские войска. Я убегал от нее посмотреть, как они шумно скачут на своих лошадях, перед глазами возникал калейдоскоп сапог, усов и сабель.

В их власти было убить любого, кого пожелает убить царь. Царь жил в громадном замке под названием Кремль. Но замки можно разрушить — это я видел каждодневно, выходя на порог нашего дома, на прохладный утренний воздух.

Дождавшись, пока не скроется из глаз последний солдат, я бежал домой. Мать казалась далекой, оскорбленной. Я подметал пол, чтобы снова заслужить ее любовь.

Но эти детские воспоминания теперь для меня отравлены. Теперь над горами я вижу гигантское лицо Троцкого, смотрящего на меня через увеличительное стекло и выискивающего признаки будущего убийцы.

Но мне приятно, что Троцкий не замечает один очень важный ключ. Быть может, самый важный ключ к моему детству и моему характеру, имеющий к «этому» самое прямое отношение.

Рассказывая о моей семье, где я был последним и единственным ребенком, он пишет: «Три первых ребенка умерли в младенчестве». Затем переходит к чему-то еще, даже не задумавшись, как это могло отразиться на ребенке. Ему не хватает пронизательности, как не хватает чувства юмора и поэзии, потому что он слишком далек от своего собственного детства, если только оно у него было и он не родился сразу эдаким старикашкой.

А ведь ребенок, который слышит, как его мать оплакивает троих своих умерших в младенчестве детей, поневоле о чем-то задумывается. Он говорит себе: если бы все трое выжили, я оказался бы четвертым

ребенком, меня бы едва замечали, на меня не обращали бы внимания. Если бы выжили двое, я был бы третьим ребенком, с которым все было бы в порядке, но который редко когда чего-то добивается. Если бы выжил даже только один, я навсегда остался бы младшим братом, но так как все они умерли, я остался одним и единственным. Это еще один знак.

Иногда мать оплакивала умерших детей певучим голосом, словно разговаривала сама с собой. В другой раз она вдруг вспоминала, о чем напевает, и начинала всхлипывать, и тогда ее лицо искажалось страданием и печалью. Быть может, из-за этих притворных гримас и слезливых всхлипываний — хотя однажды, получив подзатыльник, я научился это скрывать — вид и звуки скорби с самого детства вызывали у меня смех.

Но во мне жила собственная печаль, и над ней я никогда не смеялся. Мне было шесть лет, когда это случилось впервые. Мать накормила меня и уложила спать, осенив меня крестным знамением. У меня не было даже сил попросить рассказать мне сказку, я страшно устал от целого дня беготни по горным склонам и сооружениям заград в ручьях.

Я спал так крепко, что не видел никаких снов, и вдруг рука дьявола проникла глубоко в мою душу, рывком меня разбудила, и я увидел его налитые кровью глаза и учуял исходивший от него дурной запах вина и кожи. Отец вернулся домой.

Мать в дверях стояла на коленях и плакала.

«Дай мне посмотреть на твое сытое лицо, ради проорма которого я корчусь, как раб», — сказал он.

Просунув руки мне под мышки, он поднял меня в воздух. Я повис, обмякнув, в страхе, что он укусит меня. Но он отшвырнул меня к стене, как котенка.

Следующее, что я помню, — это свет в комнате и мать, протирающая мне лицо влажной тряпкой. А он снова исчез.

Бедный и озлобленный сапожник, отец не просто выместил на мне свое возмущение собственным жалким существованием. Нет. Он ненавидел именно меня как такового. Он ненавидел меня, потому что знал, что я убегу от его судьбы, что я буду жить лучше. Но не только в этом дело. Я уже был лучше его, и он это знал и ненавидел меня за это. Я был отмечен судьбой — сросшимися пальцами на ноге, смертью троих детей, что родились до меня. В пьяном гневe он винил меня за эти смерти. И я не мог полностью отказать ему в правоте.

Троцкий цитирует воспоминания одного из друзей моего детства, который говорит, что порки, которые задавал отец Сталина своему сыну, изгнали «из его сердца любовь к Богу и людям... Незаслуженные ужасные побои сделали мальчика таким же угрюмым и бессердечным, как его отец».

Это неверно. Отец хотел выбить из меня чувство превосходства, он хотел, чтобы я стал таким же неудачником, как и он сам, озлобленным и сломленным. Но и в этом он не преуспел.

И вовсе не отец изгнал из моего сердца любовь к Богу и людям. Это сделал я сам, сделал постепенно.

Но тот факт, что Троцкий этого не понимает, не столь важен. Важно представление обо мне, которое складывается в его сознании, — представление об уродливом азиатском чудовище, Чингисхане, о сыне, безжалостно избиваемом отцом, о человеке, в сердце которого выжжена любовь к Богу и людям. Мое детство становится его исходной посылкой. И эта посылка открывает перед ним разные возможности. Фактически она направляет его в нужную ему сторону.

**Наверное, такое можно сказать о многих: иной раз проснувшись утром, я не сразу понимаю, где я. И даже кто я.**

Затем вспоминаю: я в Кремле. Я — Сталин.

Но кем был я в тот краткий миг между пробуждением и возвращением памяти?

Некоторые иностранные комментаторы отмечают, что я время от времени говорю о себе в третьем лице — Сталин, — и считают это признаком мании величия. Легко объяснимая ошибка. Они просто не в состоянии себе представить, что на самом деле значит «быть» Сталиным. Это вовсе не то же самое, что быть кем-то еще.

Но я не всегда Сталин и не всегда был Сталиным. Когда-то я был просто Иосифом Джугашвили с детским прозвищем Сосо и юношеским — Коба. И поскольку меня постоянно выслеживала царская полиция, у меня было множество псевдонимов. Выбирая из них, я предпочел стать Сталиным. Сталин — это конечная точка, достижение, но в каком-то смысле Сталин всегда существовал в законченном виде и словно ждал меня.

И все еще ждет. Если Сталин — это человек, который мстит всем врагам за нанесенные ими оскор-

бления, я не могу оставаться настоящим Сталиным, пока жив Троцкий. Как и все другие люди, я не всегда оказываюсь на высоте положения.

Разумеется, я могу уделить лишь несколько секунд этой загадке — кто я между пробуждением и возвращением памяти.

Затем я встаю и делаю утреннюю гимнастику, если только моя маленькая дочь Светлана, считающая, что ее папа слишком много работает, не пробралась в комнату и не стащила будильник, и поэтому уже позднее, чем я думаю. И все же я стараюсь не пропускать гимнастику. Она очищает кровь и тонизирует нервы.

Голый до пояса, я после бритья обливаюсь холодной водой. За завтраком я не читаю и не люблю разговоров с утра. Обычно я ем бульон или легкое мясное блюдо, пью чай и стакан молока, предпочтительно козьего, дающего, как считают грузины, долголетие, а это предмет моего постоянного интереса.

После завтрака я выкуриваю первую папиросу или трубку — в зависимости от самочувствия; иногда я крошу папиросу «Герцеговина Флор» в трубку, иногда курю папиросу как таковую. Первая папироса или трубка очень важна для настроения. Если трубка плохо курится или наполняет рот горечью, если папироса горькая, а ее мундштук быстро расклеивается, можно сказать, что день начался неудачно.

Некоторым это может показаться эгоистическим самокопанием; так бы оно и было, если бы эти подробности не сказывались на других людях. Если курение пришлось по вкусу и мне принесли список врагов народа на ликвидацию и я нахожу в нем знакомое имя, я вполне могу приписать, что этого человека следует отправить в лагерь, а если трубка испортила мне настроение, я подписываю список не глядя.

Эти и другие бумаги приносит Поскребышев, единственный, кому разрешается входить ко мне без предупреждения. Возможно, что история его забудет,

но это по-своему примечательный человек: он пользуется полным моим доверием, что большая редкость. У него есть даже подписанные мною пустые бланки.

Лысый, приземистый, он нелепо выглядит в военной форме. Но существенно не это, а его личные качества, душа этого человека. Он как идеальный официант, который наполнит ваш бокал, когда вы не успели даже показать, что хотите пить. Вы можете говорить с кем-то еще в его присутствии и чувствовать, что разговариваете наедине. Преданный как собака, он не способен быть чем-то недовольным, хотя в свое время это надо будет проверить. Важно то, что он абсолютно доволен своим положением. Он не в состоянии представить себе ничего более привлекательного, чем то, что он делает, и он ни за что на свете не поставит свое положение под угрозу. Взяв его, я сделал правильный выбор. Кадры решают все.

В это утро Поскребышев положил мне на стол три папки: список приговоренных к высшей мере наказания, специально для меня подготавливаемый бюллетень «Международное и внутреннее положение» на 2 апреля 1937 года и рапорт о последних действиях Троцкого, в том числе и написанное им.

Завтрак мне понравился, трубка хорошо курилась. Поэтому на списке приговоренных к расстрелу возле имени Юрия Гришина, который знал все новые анекдоты, я пишу: «Десять лет».

Я делаю это, вспомнив анекдот.

Новый заключенный входит в камеру, и его спрашивают, какой он получил срок.

— Пятнадцать лет, — говорит он.

— За что? — спрашивают его.

— Ни за что! — отвечает он.

— Этого не может быть, — говорят ему, — ни за что дают десять.

Надеюсь, Гришин оценит и дарованное помилование, и его причину.

Я считаю очень важным знать последние анекдоты, потому что это верный показатель настроений в народе. И начинаю нервничать, когда вдруг — так иногда бывает — новые анекдоты не появляются. В России анекдоты — это единственный вид бунта.

Однако это вовсе не анекдот — видеть столько некогда близких мне людей в списке троцкистских предателей. Меня переполняет чувство разочарования. Если они оказались не способными сохранить верность, им хотя бы должно было хватить ума понять, что будущее принадлежит мне. Эта мысль портит мне настроение, я испытываю искушение зачеркнуть изменение приговора, написанное на полях, но ладно, раз написано, пусть остается. Я передаю список Поскребышеву движением руки, которое означает одновременно, что он может идти. Он исчезает, как будто его здесь и не было, — еще одна его привлекательная черта.

В какую бы сторону я ни посмотрел из кремлевского окна, я вижу на горизонте только одно — войну. Несомненно, то же самое видит в Мексике Троцкий. Нет сомнения, Троцкий понимает, что его шансы на мое устранение драматически возрастут в случае войны. Троцкий знает, что войны в России почти всегда ведут к крушению власти — так случилось с Николаем Вторым, царем Никки, в недавнее время. И поэтому нет никаких сомнений, что война предоставит Троцкому еще одну возможность уничтожить меня. Мы с Троцким в состоянии войны, и оружием этой войны будет война.

Но какая война? С кем? Война в Испании принесла разочарование. Сначала я действовал исходя из того принципа, что если войне суждено случиться, пусть она будет как можно дальше от дома. Я надеялся, что Испания будет новыми Балканами, что ситуация там разгорится в мировую войну; империалисты, фашисты и всегда трудноконтролируемые



иностранные коммунисты сожрут друг друга, а это только к лучшему.

Но вышло не так. Гитлер и Муссолини сильно помогли Франко, а американцы, англичане и французы пальцем не пошевелили, чтобы помочь республиканцам. Среди западной интеллигенции стало модным воевать в Испании — поехал Хемингуэй и другие, — но эта мода не затронула западные правительства. Испания будет двойной потерей — и большой войны вдали от России не будет, и фашисты восторжествуют.

Надо было что-то извлечь из этой ситуации. Поэтому я превратил испанскую гражданскую войну в свою собственную маленькую гражданскую войну. Нечего и говорить, самые лучшие и самые смелые троцкисты со всего мира хлынули на испанскую войну. И это можно считать удачей: враги собрались там, где от них относительно легко было избавиться. А на войне, когда со всех сторон свистят пули, одному Богу известно, что может случиться.

Поэтому я могу с уверенностью предсказать, что из двойной гражданской войны в Испании победителями выйдут Франко и Сталин.

В своих попытках меня уничтожить Троцкому придется искать партнеров в другом месте. Капиталисты удручены и не могут начать новую войну с людьми, имен которых им даже не выговорить. Кто же остается?

Второй Московский процесс, безусловно, показал, что Троцкий заключил формальный союз с Гитлером и императором Японии. Троцкий согласился работать рука об руку с этими чудовищами ради военного разгрома СССР, а после разгрома — отделения Украины в пользу Гитлера. К тому же конкретные случаи саботажа ради достижения этих глобальных целей были запротоколированы и все необходимые признания получены.

И все же кое-какие проблемы возникли. Обвинению было чрезвычайно важно, чтобы один из главных обвиняемых имел тайную встречу с Троцким в декабре 1935 года в Осло. Но через два дня после начала процесса норвежская пресса сообщила, что ни один гражданский самолет не совершал посадки на столичном аэродроме Кьеллер в течение всего декабря. Небрежная работа. Со временем это будет стоить наркому Ягоде его поста. К тому же у меня есть и более веские причины избавиться от него.

В других отношениях второй Московский процесс был немного скучен. На скамье подсудимых не было крупных фигур, не было запоминающихся фраз вроде тех, что слышались на первом процессе, когда дружок Ленина Зиновьев в своем заявлении — хотя слишком кратком и слюнвявом — признался: «Мой неполноценный большевизм трансформировался в антибольшевизм, и через троцкизм я пришел к фашизму».

Смерть Зиновьева была уморительна. Когда его вели в подвал для расстрела, Зиновьев едва волочил ноги и стонал с полными ужаса глазами. В какой-то момент он упал на колени, обнимал сапоги охранника и кричал: «Ради Бога, позвоните Сталину!» Затем, видя, что надежды нет, этот старый большевик начал молиться: «Слушай, о Израиль, наш Бог всемогущий, наш Бог единый». Когда ужас его достиг апогея, он даже заговорил по-древнееврейски: «Шема Исраэль Адонай Элухену Адонай Эхуд». Когда на банкете мне об этом рассказал начальник караула, я смеялся так, что живот заболел. Еще раз, просил я, расскажи еще раз. С самого начала и до Шемы. Такой истории цены нет.

И все же в целом второй Московский процесс можно считать успешным. Всех подсудимых признали виновными и приговорили к смерти. Троцкий был приговорен к смерти заочно. Два его сына тоже были

признаны причастными к его предательской деятельности: Лева, который ведет его дела в Париже, и тот второй, что остался в СССР и пытался организовать массовое отравление фабричных рабочих. Я сам отец и не в силах понять, как это Троцкий мог оставить сына в сталинской России.

Нечего и говорить, Троцкому курили фимиам за этот заочный смертный приговор, и это на какое-то время отвлекло его от дальнейшего копания в моей биографии. Он был слишком занят, сколачивая международную комиссию под руководством американского профессора философии Джона Дьюи, которая была призвана дать заключение о его невиновности. Троцкий еще обнародовал заявление:

«Я готов предстать перед общественной беспристрастной комиссией с документами, фактами, свидетельствами... и раскрыть правду до конца. Я заявляю: если эта комиссия решит, что я хотя бы в малейшей степени виновен в преступлениях, которые мне приписывает Сталин, то я обещаю заранее добровольно отдать себя в руки сталинских палачей... Но если комиссия установит... что Московские процессы являют собой сознательную и рассчитанную фальсификацию, я не стану просить моих обвинителей добровольно предстать перед расстрельной командой. Нет, вечный позор в памяти поколений будет им достаточным наказанием! Слышат ли меня кремлевские обвинители? Я швыряю мой протест им в лицо и жду их ответа!»

Мы тебя слышим. И мы смеемся во весь голос. Провинциальный российский театр XIX века в его худшем виде: «Я добровольно отдам себя в руки... вечный позор... швыряю мой протест...»

Но сверхчеловеческая чистота Троцкого не будет понята публикой даже там, на Западе. Западная интеллигенция привыкла к спокойным, выдержанным

манерам, и она скажет, что портрет Сталина, рисуемый Троцким, далек от реальности.

Не кто иной, как Бернард Шоу, написал британскому секретарю Комитета в защиту Льва Троцкого: «Сила позиции Троцкого в невероятности выдвинутых против него обвинений... Но Троцкий все портит, обрушиваясь с аналогичными нападками на Сталина. Я провел почти три часа в обществе Сталина, я наблюдал его со жгучим любопытством и нахожу, что мне так же трудно представить его вульгарным гангстером, как и Троцкого — убийцей».

Разумеется, логика людей, подобных Шоу, страдает ужасающими изъянами. Они видят, что выдвинутые против Троцкого обвинения нелепы и карикатурны. Поэтому их, видимо, нельзя признать справедливыми. Пока все верно. Потом они видят, что обвинения, выдвинутые Троцким против Сталина, тоже нелепы и карикатурны. Логика требует, чтобы обвинения Троцкого против Сталина тоже были признаны не соответствующими действительности. Но дальше все уже неверно. То, что я сделал и делаю сейчас, намного превосходит то, что доступно их воображению. Такой размах им недоступен.

Поэтому я доволен тем, что второй Московский процесс вызвал у Троцкого спазмы театральной риторики и он потерял много дней на самозащиту. Но я не могу расслабляться. Я не могу не думать: а что, если дикость моих обвинений заставит мозги Троцкого двигаться в самом диком направлении, которое только можно себе представить?

# 4

**Бог был царем вселенной и правил из Кремля на небесах.**

Мальчиком я переводил взгляд с гор на мириады звезд, и иногда на какое-то мгновение мне казалось, что Бог смотрит на меня и как бы говорит: «Что там у вас происходит?»

Я не верил, что Бог всемилостив, я не верил, что таковы же священнослужители и все остальные, за исключением нескольких старух. Сладкозвучие священников, рассуждающих о милости Божьей, не могло не быть напускным.

Но я верил в Бога всемогущего. Особенно во время гроз и землетрясений. Этот Бог был суров и гневен, и у него были свои пути, своя справедливость. Он один был свободен. Все люди на Земле были его крепостными. Но у Бога были свои представители на Земле — царь, дальний отец, и ближний отец, мой собственный.

Мне не требовалась напускная доброта монахов, чтобы понять: Бог не всемилостив, его милость до меня не доходит. Я повзрослел, стал тяжелее. Моему отцу стало не под силу шмякать меня, как докучливого котенка, об стену, он избивал меня кулаками и порол ремнем.

Я был похож на отца. Темно-рыжие волосы, красновато-смуглое лицо. Он был среднего роста, жилист и угрожающе силен. Черные усы и борода, черные налитые кровью глаза. От него исходил запах кожи и табака.

Однажды он покурил на ступеньках крыльца и подал мне знак сесть рядом, постучав ладонью возле себя. Я всегда пристально следил за его настроением и в этот раз подумал, что мне нечего бояться.

«Будет неправильно, — сказал он, — если ты ничего не узнаешь о своем прадеде Зазе. Как и все кругом, он был крепостной после прихода русских. Както объявили новое распоряжение, выгодное, конечно, для русских и оскорбительное для нас. И твой прадед Заза возглавил бунт. Он резал глотки, Иосиф, — сказал отец, подняв подбородок и проведя пальцем по горлу. — Но русские не сумели его поймать. Он скрылся от них».

Тогда-то я и понял, почему он меня ненавидит. Потому что кровь Зазы лишь проскочила через него и вошла в меня. Он влачил жалкую жизнь с набожной женщиной с хилым чревом, которая принесла ему до меня троих мертвых детей. Он не мог совладать с ненавистью ко мне, вспышки насилия в нем были вполне объяснимы. Уверен, на его месте любой вел бы себя точно так же.

Но на самом деле у его ненависти ко мне была еще одна причина. Я не только держался с чувством превосходства. Я обладал этим превосходством. Лучший пловец, лучший борец, лучший ученик. Люди смотрели на меня улыбаясь — так смотрят на мальчика, который далеко пойдет. Отец видел это. Никто так не смотрел на него в его детские годы, потому что было очевидно: он никуда не пойдет и кончит тем, кем стал, — несчастным сапожником-пьянчугой, избивающим жену и сына.

И все же я благодарен отцу — он научил меня понимать: людям ненавистно, когда превосходством

шеголяют. Он раз и навсегда вышиб это из меня. Нет урока ценнее. Троцкому бы такого отца.

Когда мне было пять лет, отец ушел из дома и уехал в Тифлис работать на обувной фабрике Адельханова на Эриванской площади, той самой площади, где много лет спустя я проведу самое успешное ограбление банка в российской истории. Отец время от времени приезжал домой — передохнуть, попьанствовать, поколотить нас, но в основном мои детские годы прошли рядом с матерью. Она почти все время пела, иногда приглашала меня подпевать ей. Когда я учился в школе, я был певчим хора.

Когда я заболел, мать молилась надо мной, заключив сделку с Богом. Бог выполнил свои обязательства. Мать делала все, что было в ее силах, чтобы выполнить свои. Она беспрерывно внушала мне мысль о величии священничества, о том, что нет ничего выше служения Богу. Но в моих жилах текла кровь Зазы, и в глубине души я не хотел служить никакому господину.

Но я не спорил с ней, когда она настояла на моем поступлении в Горийское духовное училище, откуда лежал путь в Тифлисскую духовную семинарию

Троцкий размышляет в марксистских категориях, и, будучи евреем, он не в состоянии понять привлекательности священничества.

«Сама эта мечта, — пишет он, — увидеть своего сына в рясе священника, говорит о том, как мало эта семья... была проникнута «пролетарским духом». Лучшее будущее виделось не как результат классовой борьбы, а как разрыв с собственным классом».

Троцкий все время обвиняет меня в фальсификации истории, но здесь, очевидно, он требует от меня именно этого. Никакая семья в то время не была проникнута «пролетарским духом». Ни моя, ни Троцкого, отец которого освоил не еврейскую профессию фермера и эксплуатировал труд наемных рабочих.

Чего он хочет? Роман Горького в духе социалистического реализма, где мать отправляет своего сына

на борьбу против капиталистов и буржуазии, за дело рабочего класса?

Но так не было. Она хотела, чтобы я стал священником, и готова была на все ради воплощения своей мечты, даже если это значило стереть свои пальцы до костей шитьем и стиркой в горийской начальной богословской школе, куда она записала меня 1 сентября 1888 года, за четыре месяца до того, как мне исполнилось девять.

Проблема Троцкого в том, что он всегда ведет себя как чрезмерный коммунист. Похоже, что он стал воинствующим атеистом со дня рождения. Но все дело в том, что проблема Бога никогда его не занимала. Он интересовался другими вещами: политикой, литературой, самим собой.

Для меня вопрос о Боге был очень реальным и очень серьезным. Я часто размышлял о Боге. Я любил задавать себе загадки, касающиеся Бога: мог ли он создать камень, который ему самому не под силу поднять? Если Бог существует, то как он мог позволить отцу бить меня по лицу?

Я изо всех сил сражался с этими вопросами. Это тяжелейшая ноша, она весит многие тонны, и вы набираете силы, когда пытаетесь ее поднять.

Троцкий никогда до этого не снисходил. Он пренебрегал Богом, как пренебрегал и Сталиным.

\* \* \*

Троцкий, как извращенец, ползает по школьному двору, пытаясь найти меня среди множества других черноволосых ребят.

Школы все одинаковы, школы всегда были и всегда будут. Всегда есть жирный мальчик, способный мальчик, плохой мальчик.

В школе всегда возникают группки. Некоторые мальчишки идут своим путем, но обычно после того,



как их отвергает та или иная группа. Дети умеют дать ясно понять, хотят они кого-то или нет.

Не бывает группы без лидера. Она может начать формироваться без него, но в конечном счете сплачивается вокруг вожака.

В том возрасте, когда все наши поступки искренни и инстинктивны, я знал, что должен быть лидером. Все остальное воспринималось мною как великий позор.

Когда один мальчик видит другого, первое, о чем он думает: одолею ли я его в драке?

Важно, конечно, как действовать и что говорить, но рано или поздно все доказывается кулаками.

Один соседский мальчик, с тем же прозвищем, что и у меня, — Сосо, бросил мне вызов, когда наша группа только начала складываться. Уже по тому, как начинался разговор, я понял: он не отступится. А как только возникает такой разговор, сбегаются все ребята.

Я бросил на него оценивающий взгляд. Он был сильный. В то время я уже перенес оспу и заражение крови. Если бы я проявил малодушие, то засомневался бы в своих силах.

Мы начали пихать друг друга, был нанесен первый удар. Обмен первыми ударами значит многое, но еще ничего не решает. Даже если вам досталось и мальчишки подбадривают вашего противника криками, вы еще можете победить, если не потеряете присутствия духа и ясности мысли.

Я был доволен, что проиграл первый обмен ударами. Во мне закипел гнев, я разгорячился, а это всегда идет на пользу. В последующем раунде мои удары были быстрыми и сильными, а его удары не достигали цели. Теперь все подбадривали меня.

Они подбадривали нас по фамилиям, потому что у нас были одинаковые прозвища, хотя несколько дураков кричали: «Давай, Сосо!» — и их занимала лишь сама драка.

Дальше мы обменивались равноценными ударами. Не сговариваясь, мы перешли от ударов по телу к ударам по лицу. Ребятам это понравилось, потому что так легче пустить кровь, выбить зуб, а то и глаз.

До сих пор помню, как прыгал вверх и вниз черный чуб второго Сосо. Я смотрел ему прямо в глаза, противопоставляя его решимости свою волю. Ведь проиграть драку можно глазами еще до того, как вы проиграете ее кулаками.

Последний обмен ударами был стремителен. Я сделал обманное движение левой к его лицу, а правой нанес ему удар в солнечное сплетение и сбил его с ног; он на секунду потерял дыхание.

Но я видел, что он быстро приходит в себя. Поэтому зашел сзади с таким видом, будто просто прохаживаюсь, ожидая, когда он встанет на ноги.

Обычно условия драки — чистые или грязные — объявлялись с самого начала. Но нет правила, запрещающего переход от одного вида к другому, если это входит в ваши планы и вы готовы заплатить цену.

Сосо стоял на коленях и отряхивался от пыли, когда я ударил его под ухо, в основание шеи. Он рухнул, возмущенный предательством. Я бил его по голове, целясь в угол глаза носком ботинка. Я не остановился сразу, когда он в первый раз крикнул «Сдаюсь!» Это было недостаточно громко, чтобы все слышали.

Затем я отступил и посмотрел на зрителей. Некоторые недовольно ворчали, но тут же замолкли, когда я поднял на них глаза. Раздалось еще несколько выкриков, но ни один не выступил вперед.

Второй Сосо посмотрел на меня, и в этот момент между нами все стало на свои места. Он был готов мне подчиниться.

Я посмотрел на ребят, чтобы убедиться, видели ли это они. Они видели.

Если британцы правы в том, что касается спортивных площадок Итона, то в этот день решилась судьба сотен миллионов.

# 5

**Я был лучшим не только на школьном дворе, но и в классе.**

Это выводит Троцкого из себя. Он цитирует одного из моих одноклассников: «В первые годы, в подготовительных классах, Иосиф учился превосходно и со временем... стал одним из лучших учеников». Затем Троцкий продолжает: «Осторожное выражение «один из лучших» со всей очевидностью говорит, что Иосиф не был лучшим, не превосходил весь класс, не был выдающимся учеником. Идентичны по характеру воспоминания другого одноклассника, который говорит, что Иосиф «был одним из самых... одаренных». Иными словами, не самый одаренный».

Нет сомнения, что Лев Троцкий, или Лев Бронштейн, как его тогда знали, был самым лучшим, самым выдающимся, самым одаренным учеником в своей школе. Даже на этой последней стадии шахматной партии Троцкому важно доказать, что он был лучшим учеником, чем Сталин! Но мне это только на руку. Чем более Троцкий ослеплен своим тщеславием, тем менее удастся ему разглядеть настоящего Сталина.

Нравится это Троцкому или нет, но факты — упрямая вещь. Я был круглым отличником все годы в

Горийском духовном училище и закончил его лучшим учеником.

У меня феноменальная память. Всю мою жизнь люди поражаются этому. Я умею запоминать моментально. Таких способностей не было у наших соседей, братьев Чарквиани, они ничего не могли запомнить, пока не повторят этого. Они выходили из дома и на весь двор повторяли прочитанное. Я стоял у нашей двери и слушал; когда они заканчивали, можно было сказать, что и я выучил урок. Но однажды они неправильно что-то прочитали, и когда меня на следующий день вызвали, произошел тот редчайший случай, когда я ответил неправильно. Я их чуть не убил.

Троцкий цитирует нескольких моих учителей и одноклассников относительно моей «феноменальной» памяти и вынужден добавить: «Кстати говоря, память Сталина — по крайней мере в том, что касается теорий, — довольно посредственна». Есть ли в этом хотя бы дуновение ереси, коль скоро для марксиста существует только одна теория, которая достойна того, чтобы ее помнить?

«Его всегда можно было видеть за книгой», — говорит один из моих одноклассников. Верно. Я был и остался великим книгочеем.

Больше всего на меня повлияли три книги: роман, историческая книга и научная книга. Именно в этом порядке. И в этом порядке есть собственная логика.

Роман назывался «Отцеубийца». Его герой Коба, грузинский нарушитель закона, который поднимает бунт против русских и мстит за зло, причиненное его народу. Коба — фехтовальщик, отменный стрелок, отважный, смелый трагический герой. Вот кем хотелось стать, а не священником или сапожником.

Я заставил всех ребят называть меня Кобой, и им хватило ума мне не перечить. Они все прочитали эту книгу, и им нравилось иметь своего Кобу, а мог ли кто-нибудь им быть, кроме меня? Я был хорошим

читателем книг, но еще лучшим читателем душ моих товарищей: этот тип охотно пойдет за мной, рад не задумываться самому, что делать, рад предоставить решение мне. Другой ищет моей дружбы и протекции. Третьего я могу запугать, заставить сделать все что угодно. Еще один любит похвалу. Или другой, что таит ненависть, думает, что он лучше меня.

Но видеть, что каждый из них из себя представляет, еще недостаточно. Нужно научиться манипулировать ими, сталкивать их друг с другом. Нужно экспериментировать с этими комбинациями, смотреть, что получается. В таких вещах наука в состоянии только обострить имеющийся инстинкт — если он, конечно, есть. Это дар.

Я всегда был практичен. И смысл чтения заключался в следующем: чего хорошего в книге, если она не помогает в жизни? Поэтому уже вскоре я подверг испытанию то вдохновение, которое снизошло на меня после прочтения романа о Кобе. В 1890 году, через два года после поступления в школу, русский язык стал официальным языком обучения, а грузинскому учили два часа в неделю как иностранному. Это ущемляло нашу гордость. Конечно, мы все были горячие патриоты, как положено вспыльчивым мальчишкам, особенно если это может стать поводом для какой-нибудь выходки.

И вот однажды после занятий я велел паре ребят собрать остальных. Некоторые обегают всех быстро, а других посылаешь, а они во что-то впутываются и не возвращаются обратно. Ребятам нравилось, что я всегда давал поручения тем, на кого можно положиться. Лидер должен всегда думать о своем авторитете.

Когда все собрались, я сказал: «Завтра за обедом мы все встанем и начнем выкрикивать: наш язык грузинский! Наш язык грузинский! — сначала по-грузински, потом по-русски». Я объяснил, что первый вскочу я, и добился согласия остальных, что они сделают то же самое за мною следом.

На следующий день мы сидели за партами, и я чувствовал, что все взоры устремлены на меня. В моем распоряжении было секунд десять. Монахи зыркали глазами, раздавая тумачи тем, кто вел себя неподобающе. Стены вокруг показались внезапно чудовищно монолитными. Даже воздух казался тяжелым, он словно пригибал вниз, не давал встать.

То был один из тех моментов, когда проявляется все. Усилием воли я точно подстегнул себя, вскочил на ноги и закричал голосом, в котором слышались ненависть и возбуждение: «Наш язык грузинский!»

Некоторые повскакали с мест быстрее других, и скоро уже все кричали. Первая жестяная кружка полетела через столовую.

Меня наказали, но не исключили.

Коба вдохновлял меня и в моей войне с отцом. Как только я стал выделяться в школе и проявил себя естественным вожаком, он решил, что я должен пойти по отцовским стопам и стать сапожником.

Быть может, на него подействовали слухи о том, что я не его сын, что моя мать путалась то ли со священником, то ли с князем — в зависимости от того, кто рассказывал. Три раза он не сумел стать отцом выжившего ребенка, и вот будто бы она пошла искать удачи на стороне.

Я в это не верю. Она была не из тех. Кровь Зазы Джугашвили течет в моих жилах. Этот сукин сын был мне отцом.

Он потащил меня с собой в Тифлис работать рядом с ним на обувной фабрике Адельханова.

Это был мой первый приезд в столицу и вообще в большой город. И какой город! Дворцы, соборы, магазины, банки — в том числе главный, который я позже ограблю, — верблюды, уличные фокусники, модные женщины, книготорговцы, попутан, дервиши из Турции, армянские купцы, мешки фисташков, мед, халва.

И я увидел, кем был мой отец в сравнении с другими рабочими. Он ничем не выделялся. Кругом такие же неудачники, как и он. Некоторые боялись его норова: у выпившего сапожника всегда под рукой масса острых инструментов на случай драки. Но большинство вокруг только усмехались — терпеливой осуждающей ухмылкой.

Тогда большую часть времени он был трезв, а трезвый он был хороший работник. И хотя тогда мне было противно в этом сознаться, он привил мне неплохие рабочие навыки.

Вот так я узнал кое-что о сапожном ремесле: запахах клея и кожи, стук строчильных машин, головокружение, которое возникает после целого дня вдыхания фабричных запахов. То был ценный опыт — он дал мне возможность попробовать вкус рабочей жизни. Я был способный ученик, но уже через несколько недель я твердо знал, что скорее умру, чем буду выполнять эту работу.

Запа ни за что не стал бы сапожником, Коба никогда не стал бы сапожником, и я никогда им не стану. Я понимал, что если не восстану против отцовской воли, то никогда не вернусь в школу и никогда не буду жить жизнью, которая мне суждена.

Самым простым выходом из положения была бы смерть отца. Проблема исчезла бы с ним вместе. Я и раньше желал ему смерти, но никогда так сильно, как сейчас. Теперь он не только собирается меня избить, теперь он хочет отнять у меня самую жизнь.

Я молился: Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы отца задавила лошадь, пусть он пьяный свалится под поезд, пусть он мучится заражением крови, как мучился я, но только пусть у него будет отнята жизнь.

Я даже пытался его убить.

Они ругались с матерью. Единственный раз в жизни она пошла ему наперекор. За душу своего сына Иосифа, за свою мечту сделать из него священника она готова была драться.

«Значит, он слишком хорош для той работы, которую делает его отец, чтобы кормить вас обоих?»

«Все его учителя говорят, что он способный и получит стипендию для поступления в Тифлисскую семинарию. О тебе такого не говорили».

«Откуда ты знаешь, что говорили обо мне в мои юные годы? И кто сказал, что священник лучше сапожника? Сапожник хотя бы делает что-то полезное».

«Оба хороши и нужны. Я не то хотела сказать. Я хотела сказать, что обещала Богу: если он сделает так, что Иосиф поправится, я сделаю все, что в моих силах, чтобы он стал священником».

«Но меня никто даже не спросил».

«Когда он болел, тебя не было дома».

«Это правда, меня не было дома, я зарабатывал нам на жизнь. Так поступает мужчина. А мужчине положено быть хозяином в своем доме. Не дело, чтобы в семье заправляла женщина».

Он ударил ее по лицу. От него разило вином, но на этот раз дело было не в вине. Тут было что-то другое. Что-то более серьезное.

Когда он вошел, мать резала хлеб, и нож лежал на столе.

Сначала я схватил нож, думая лишь о том, чтобы спрятать его от отца: я боялся, что он накинется с ножом на мать, на нас обоих.

Но он заметил мое движение.

«Ты что делаешь, проклятый маменькин сынок!»

Я метнул нож в отца. Он пролетел над его плечом и воткнулся в стену, повис там на мгновение и упал на кровать.

В эти несколько секунд время как бы остановилось, а потом он бросился ко мне. Я сумел увернуться и выбежать за дверь, ни разу не оглянувшись. Несколько дней я прятался у соседей, пока не узнал, что отец снова уехал.



После этого вопрос о моей работе на обувной фабрике больше не возникал. Через день-два я вернулся в школу.

Я так никогда и не узнал, что на самом деле произошло. Наверное, мать воспользовалась какими-то связями с местными властями — церковью, жандармами, школой. Церковь не отдает лучших учеников без боя. Особенно пьянчуге сапожнику, у которого нет никакой власти, кроме власти избивать жену и детей.

И вот я был снова в школе, погружившись в книги, как будто все это — обувная фабрика, нож, необходимость прятаться — было просто дурным сном. Конечно, время от времени я поднимал голову от книг и думал об отце. И тогда сном казались уже учебники и школа.

Поездка на поезде в большой город Тифлис обратила мои интересы в сторону истории. Следующей большой книгой в моей жизни стала «История России». Вообще-то я буквально проглотил несколько книг по истории России. России, только России. Меня не интересовали иностранцы и зарубежные страны. Я хотел знать только то, что было в России, где постоянно происходят самые невероятные события.

Взгляд мой на российскую историю был ребяческий, крайне упрощенный, но в конечном счете верный.

Каждый школьник знакомится с мифом о происхождении русского государства. Варягов пригласили, чтобы они правили русской землей. Хроники того времени сохранили слова, сказанные тогда русскими людьми: «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет. Приходите править и владеть нами».

Меня поразило, что России не хватило гордости и здравого смысла уничтожить хроники об этом позорном событии.

Мне нравился Великий князь киевский Владимир, который заставил русских принять христиан-

ство, приказал уничтожить и сжечь языческих идолов, выбросить их в реку.

Я восхищался монгольским Чингисханом, который нагрнул в 1240 году. Тогда Россия на три с лишним столетия узнала вкус кнута. Хотели, чтобы ими правили, вот и получили.

Монголов не интересовала религия и внутренняя политика своих подданных. Им нужны были лишь деньги и покорность, и они получали и то, и другое в течение 250 лет. Затем их империя распалась изнутри, и монголы ушли.

А через некоторое время явился мой герой, мой соперник — Иван Грозный. Его целью было объединить Россию, раздробленную монголами на сотни мелких владений. Единственная проблема состояла в том, что князья не спешили расстаться со своей властью.

Но Иван знал великий секрет: жестокость — хирургический нож истории. Решающий фактор — это всегда высшая степень жестокости, примененной с умом.

Иван создал первую тайную полицию. Численность ее составила шесть тысяч. Они были в черной форме на черных конях. Седла были украшены железными эмблемами в виде собачьей головы и метлы, что символизировало их миссию — вынюхивать измену и выметать ее вон.

Иван изобрел террор. И даже проявлял к нему вполне современный «научный» интерес. На массовые пытки и казни его часто сопровождал сын. Они творили то, что позволяла технология эпохи: предателей секли кнутами, кастрировали, резали, жарили на медленном огне, бросали в реку под лед и добивали дубинами тех, кто выплывал на поверхность.

Для Ивана это были также практические эксперименты, проводившиеся в условиях чрезвычайного положения и полного контроля. Сколько времени сохраняется человеческое достоинство? Сколько минут сохраняется мужество?

В моих детских фантазиях я иногда был Иваном, иногда сыном Ивана. Но все изменилось, когда я узнал, что Иван, заподозрив сына в предательстве, ударил его по голове острым железным посохом, который всегда носил с собой. Сын умер на руках отца, повторяя: «Я умираю твоим верным сыном и самым покорным из твоих подданных». Иван сошел с ума от горя и вины, ездил из одного монастыря в другой, моля Бога о прощении. Разве Бог не допустил смерти собственного сына на кресте?

Иван, которого я предпочитал вспоминать, был человеком, позволившим себе поэтичную дерзость — ослепить архитектора, которого он нанял для строительства храма Василия Блаженного на Красной площади, чтобы тот не мог построить равного по красоте еще кому-нибудь.

Но историю я учил не только по книгам. Я наблюдал за ней на городской площади в Гори, где несколько дней строили виселицы, на которых русские в назидание всем вздернули двоих грузин.

Стоя позади толпы, я говорил с Богом и бросил ему свой первый вызов: если Ты хочешь, чтобы я поверил в Твое существование, сделай так, чтобы веревка оборвалась.

Нечего и говорить, ничего подобного не произошло. Двое несчастных корчились несколько минут, потом все было кончено.

Но я бы солгал, если бы сказал, что моя вера умерла в то самое мгновение на том самом месте. Нет, скорее, то было лишь обострение конфликта.

Мне было одиннадцать, когда моего отца убили в пьяной драке. Меня это не удивило. Мой отец как будто сам на это напрашивался. Даже собственный сын метнул в него ножом.

Теперь передо мной со всей остротой и живостью встали философские вопросы, которые Достоевский называл «проклятыми вопросами».

Где теперь мой отец? На небесах? В аду? Откуда он видит все, что происходит в этой жизни?

Если Бог все же существует, значит, есть и загробная жизнь. Если в самом деле есть загробная жизнь, то отец занимает в ней какое-то место. И оттуда может заглянуть в душу своего сына.

В моем сердце со всей определенностью пролегла некая черта, прямая и магическая, между моим желанием отцовской смерти и его убийством в драке. Не в том дело, что я испытывал чувство вины. Отнюдь нет. Я чувствовал удивление.

И страх, что отец может каким-то образом нанести мне удар даже оттуда.

Но если Бога нет, то нет и загробной жизни, и мой отец превратился в ничто.

Поэтому теперь отсутствие Бога стало моим величайшим желанием.

Чтобы смотреть в пустое небо.

Я объявил Богу войну и ждал, что он поразит меня как своего врага. Но он ничего не сделал. И чем больше я избавлялся от его власти надо мной, тем лучше, легче, свободнее я себя чувствовал.

Моя вера в себя росла, но Бог все еще внушал сомнения.

Когда я пел в хоре во время службы, я смотрел вокруг себя на лица других мальчиков и священников, ища в них признаки веры, а сам мысленно насмехался над Богом, хотя и пел, как ангел. Предаться этим мыслям и чувствам — одно дело, но принять их головой — другое. Однажды я отправился на далекую прогулку в горы, за разрушенный замок. День был ясный. Парили орлы. Я сел под деревом на золотисто-коричневый ковер из сосновых иголок.

Я поднял глаза в небо и, пользуясь возвышенным языком, которому я научился у священников и матери, сказал Богу: сейчас на этом месте я отдаю себя в Твои руки, и если Ты, как меня учили, готов меня

взять, то Ты примешь искренне предложенную тебе душу. Если Ты существуешь, то мне нет смысла оставаться собой, я готов умереть в Тебе и стану тем, кем хотела меня видеть мать, — Твоим слугой, Твоим священнослужителем. Возьми же меня, Господи!

Но Господь меня не взял.

Как я и надеялся.

Я перехитрил Бога.

Доказав его отсутствие.

Но чего-то недоставало.

Неопровержимого подтверждения.

И я нашел его.

В третьей моей великой книге.

В Дарвине.

Я сравнивал картинки человеческой и обезьяньей руки. Все было ясно. Люди не созданы Богом. Они произошли от обезьян. Наука доказала, что Бог не понадобился. А может ли быть что-нибудь более ненужное, чем бесполезный Бог?

Радость моя была безгранична, я ликовал. Я спешил рассказать об этом всем. Троцкий цитирует одного из моих однокашников, который вспоминает мои слова: «Знаешь, они обманывают нас. Бога нет... все это доказано Дарвином. Прочти немедленно».

Здесь Троцкий совершает двойную ошибку. Он говорит: «Тринадцатилетний мальчик в заштатном городке едва ли имел возможность прочитать Дарвина и вынести из этой книги атеистические убеждения».

Гори не был заштатным городом. К концу XIX века в нем были тротуары, уличные фонари, телеграф, прямая железнодорожная ветка до Тифлиса. Ничто не могло помешать книге Дарвина прибыть туда по железной дороге. Но дело не только в этом. В Гори был книготорговец по имени Арсен Каландадзе, которому доставляло удовольствие подпитывать молодые мозги поджигательной литературой разного сорта.

«... Едва ли имел возможность прочитать Дарвина и вынести из этой книги атеистические убеждения». Не только имел возможность, но и прочитал. А что еще я мог вынести из этой книги?

Позднее, проводя время с товарищами-рабочими, я узнал, что многие из них прочитали Дарвина примерно в том же возрасте и он произвел на них точно такое же впечатление. Вне зависимости от того, какие у них до этого были религиозные убеждения — христианские, иудаистские, мусульманские. Они тоже видели руку обезьяны.

Чтение Дарвина повлияло на меня очень сильно. Оно подкрепило мой отказ от Бога и вдохновило на систематическое нарушение всех Десяти заповедей, которые я отныне считал лишь узами. Хотя я крал и лгал раньше, теперь я крал и лгал с высшей целью — обретения свободы. Продолжительным оказалось и воздействие Дарвина на мою политическую философию. Будущие историки могут даже заключить, что Дарвинизм + Ленинизм = Сталинизм.

Троцкому ненавистна мысль о том, что молодой Сталин читал Дарвина, и не только читал, но и понимал куда глубже, чем сам Троцкий. Для Троцкого Дарвин не был этапом какой-либо внутренней борьбы, для него это была просто еще одна важная теория. И уж разумеется, память Троцкого на всякие теории не была «посредственной».

Троцкий никогда не вступал в схватку с Богом — он относился к нему с пренебрежением, как ко мне тогда в Лондоне в 1907 году. И то, и другое он сделал на собственный риск.

Если бы Троцкий сражался с Богом, а не просто плюнул на свой иудаизм и удалился, то как человек он был бы куда лучше. И Троцкий никогда не признается даже себе, что в духовной глубине я превосхожу его. Сталиным нельзя стать, не сведя сначала счеты с Богом.

# 6

**Гитлер только что оказал мне милую услугу:** его последняя речь так воспламенила Троцкого, что он снова отложил свое исследование моей жизни и выпалил свой ответ.

Я тоже читаю все речи Гитлера и кое в чем с ним соглашаюсь. Вред евреям, к примеру. Но он слишком узко рассматривает эту проблему. Всегда существует множество вредоносных влияний, и следить за ними полезно. И все же особенно вредоносны евреи.

Владея государственными архивами, я знаю, что антисемитский трактат «Протоколы сионских мудрецов» является фальшивкой царской охранки. Гитлер верит в «Протоколы», потому что его противники в них не верят и потому что он хочет, чтобы они были истинными.

Но один только факт, что «Протоколы» — фальшивка, не означает, что самые влиятельные евреи не собираются где-то втайне и вырабатывают свою стратегию. Для людей, подобных Гитлеру и мне, которые поднялись наверх через тайные организации, ставившие своей целью захват власти, в этом нет ничего необычного или экзотического. Если большевики и нацисты были достаточно умны, чтобы иметь

тайную организацию, то почему то же самое не могли сделать евреи?

Численность евреев столь незначительна, что их присутствие не должно было бы даже ощущаться. Но что мы видим? Евреи повсюду. С точки зрения статистики в руководящем кругу революционеров не должно было быть ни одного еврея, но их оказалось несколько, и Троцкий — главный из них.

Евреи очень настойчивы. Они упорны в смысле выживания, они настойчиво хотят быть услышанными. И Троцкий продолжает настаивать на том, что он законный лидер Советской России и мирового коммунистического движения. Поэтому, если он человек слова, человек цельный, он должен подчинить все свои усилия единственной цели — моему свержению, уничтожению.

Кроме раскрытия моего тайного преступления, Троцкий может двояким образом добиваться моего падения: он может ударить по мне, проникнув в мое окружение, или нанести массированный удар по моей власти, завоевав политический контроль над армией.

Я проник в его окружение, почему бы ему не попытаться сделать то же самое? В настоящее время в его доме в моем распоряжении только уборщица, а совсем недавно еще и секретарша (Мария де ла Серра, кодовое имя Африка). Кто может служить ему в моем? Самым умным было бы завербовать моих поваров и дегустаторов пищи. Капля яда чревата большими последствиями.

Но это не в стиле Троцкого. Он любит большую сцену, красивый жест. В темных коридорах интриг он чувствует себя не в своей тарелке.

Нет, Троцкий, создатель Красной Армии, должен будет рассуждать примерно так: я создал эту армию, и армия помнит меня, потому что армия — традиционалистская организация с живым чувством прошлого. Офицеры не дураки. У них была возмож-



ность узнать, что такое Сталин. Теперь они это знают. Они держат в руках армию, у них есть оружие и все средства, чтобы захватить власть.

Офицеры и Троцкий, возможно, еще этого не поняли, но рано или поздно поймут просто потому, что это так, а не иначе.

По этой причине с моей стороны было бы самоубийственно не действовать, когда очередь хода за мной.

Я вызываю Поскребышева. Выражение лица у него одновременно бесстрастное и настороженное. Он не проявляет любопытства, но я знаю, что он всегда рад узнать, кого поразит следующий удар грома. Тонем своего голоса я даю ему понять, как ему следует реагировать на мои инструкции. С какой быстротой. С какой степенью скрытности. И уровень требуемого мною удовлетворения.

Итак, давая ему понять, что все пока предварительно, хотя и в высшей степени секретно, я говорю: «Если Троцкий вздумает нанести мне удар через армию, каких генералов он сумел бы завербовать? А если какие-то генералы не захотят в этом участвовать, то по какой причине?»

Поскребышев сразу уходит, потому что знает, как именно ему следует поступить. Весь замысел ему совершенно ясен — Сталин обезглавит руководство Красной Армии. И я чувствую его одобрение, хотя он постарался ничем его не показать.

Я ценю в нем это качество. В таких делах у него есть вкус и здравый смысл — он приложил руку к убийству царской семьи. Я не считал бы хорошим знаком, если бы почувствовал его явное одобрение, когда он закрывал за собой дверь.

Все это к лучшему. Армия не будет больше потенциальным орудием в руках Троцкого, а новые генералы будут всем обязаны мне. Будет осуществлено также легкое прочесывание офицерского и сержант-

ского состава. Генералов следует брать с приличным интервалом, судить закрытым трибуналом и тотчас расстреливать.

Конечно, это будет обнародовано. Россия узнает. Гитлер узнает. Весь мир узнает.

Есть ли более веское доказательство того, что Сталин заинтересован только в мире, чем то, что он обезглавил собственную армию? От войны может выиграть только Троцкий, не Сталин. Троцкий — вот угроза международному миру.

Всегда нежелательно вести войну на два фронта, а Сталин уже вовлечен в войну на внутреннем фронте. Сталин развязал террор, оставляющий позади все ужасы Ивана Грозного. Россия никогда не знала и не узнает года, подобного 1937-му. Дубинки. Признания. Процессы. Вагоны для скота, десятками тысяч везущие заключенных в Сибирь. Кирпичные подвалы для казней, день и ночь сотрясающиеся от выстрелов.

Организовать все это, скоординировать, манипулировать всеми рычагами, педалями и приводными ремнями — грандиозная задача.

Для террора Сталину нужен мир.

### **Два поворота к худшему.**

Троцкий снова вернулся к моему делу, а вчера, 9 июля 1937 года, умерла моя мать.

У нее в жизни было три желания: чтобы ее сын стал священником, чтобы ее сын присутствовал на ее похоронах и чтобы крест был поставлен на ее могиле.

Сталин не поедет на ее похороны.

Сталин не был бы Сталиным, если бы поехал. Рассуждая диалектически, его отсутствие есть его присутствие.

В день ее восьмидесятилетия, в тот единственный раз, когда я вернулся в Гори, мать посмотрела на меня пристально, как это умеют только грузинки, и сказала: «Я все-таки предпочла бы, чтобы ты был священником».

Я расхохотался — не мог сдержаться. Это ее рассердило, но ненадолго.

В конечном счете я ее разочаровал. Я не дал осуществиться ее мечтам в отношении меня.

Какое-то время казалось, что ее мечта сбудется, но это лишь сделало все дальнейшее более трудным для нее. В сентябре 1894 года четырнадцатилетний атеист был зачислен на полное содержание в Тифлисскую духовную семинарию.

Всего этого добилась мать, она использовала все связи, какими располагала, для своего отличника Иосифа.

В семинарии стоял запах мышей и воска и царила та же смесь затхлости и сырости, которая ждала меня позднее в десятке тюрем. По существу, мы и были заключенными, нас отпускали только на два часа в день, с трех до пяти.

Троцкий теперь сосредоточивается на образовании, которое я получил в семинарии, — он называет двуличие, а вовсе не теологию: «Каждый шаг делался на глазах монахов. Чтобы выдержать этот режим в течение семи или даже пяти лет, требовались необычайные способности к скрытности... Его враждебность постоянно сдерживалась, контролировалась, нужно было держаться настороже».

Но двуличие на самом деле было здоровой реакцией. В этом был единственный шанс сохранить в себе что-то живое в этом строго регламентированном мире классных занятий, церковных служб, молитв, скудной пищи, внезапных обысков — пытались найти светскую литературу или националистическую пропаганду, которой тоже боялись. Разумеется, это делало авторов такой литературы и ее предметы еще более привлекательными. Я буквально проглатывал романы — Гюго, Достоевского, Гоголя. Националистическая пропаганда не привлекала меня так, как романы. Отчасти это объяснялось тем, что я находился тогда в «литературной» стадии, отчасти тем, что понимал: если даже Грузия снова станет свободной, она превратится всего лишь в королевство виноградарей и кровной мести. Россия — великая страна. Об этом ясно свидетельствует ее литература. Пушкин, Достоевский, Толстой — эти имена звучат, как оружейные залпы.

Именно в семинарийские годы я попробовал свои силы в поэзии. Проблема была в том, что, хотя я

свободно владел русским языком, мне все же легче было писать на родном. Но быть великим грузинским поэтом значило размениваться на мелочи. Мне нужно было по-настоящему овладеть русским, чтобы писать серьезные стихи. И я взялся за дело.

Через некоторое время я договорился о встрече с Аркадием Вольским, литературным редактором местной русской газеты, предварительно оставив ему стихи несколькими днями ранее во время своего двухчасового дневного перерыва.

Подойдя к дверям здания, построенного в излюбленном русским дворянством классическом стиле, на котором красовалась медная табличка с названием газеты, я вдруг почувствовал, что у меня подкашиваются ноги и я не могу заставить себя войти. В конце концов самовнушением я привел себя в чувство и поднялся по гладким каменным ступеням в его кабинет.

«А, семинарист, — сказал Вольский, тяжелый, крупный мужчина с быстрым умом. — Садитесь. Чаю?»

Я помотал головой.

«Значит, вы сразу же хотите выслушать приговор. Отлично. У меня больше шансов стать знаменитой балериной, чем у вас писать бессмертные стихи на русском языке. Точка».

Я был убит и взбешен одновременно.

На несколько дней или недель я замкнулся в себе. Я никогда не буду великим поэтом великой литературы. Точка.

Но потом я понял, что я совсем не хотел становиться поэтом. Большинство из них ждал жалкий удел: если их не ссылали цари, то убивали на подстроенных по пустячному поводу дуэлях или они умирали в нищете. Это не жизнь.

Странное дело, я понял это, читая стихи. То был перевод Уитмена: «Мы живы. Кровь наша кипит огнем нерастрченных сил».

Вот именно! Жить! Жить по-настоящему! Поэзия сделала свое дело и вернула меня к жизни.

А в то время жизнь для меня означала великий город Тифлис, имя, которое навязал ему русский царь и которое я потом заменю настоящим — Тбилиси.

Троцкий раскопал где-то неплохой путеводитель по городу за 1901 год, хотя он нужен ему лишь для того, чтобы подчеркнуть мое азиатское окружение и придать своему сочинению местный колорит:

«От улиц, имеющих современный европейский вид, расходится лабиринт узких, кривых, грязных, чисто азиатских переулков с маленькими площадями базаров с по-восточному открытыми лотками, прилавками, кофейнями, парикмахерскими; шумная толчея грузчиков, разносчиков воды, извозчиков, ослов и мулов, караваны верблюдов и так далее».

Я любил бродить по узеньким улочкам, пробираясь в удивительной человеческой толчее — грузин, русских, армян, персов, греков и евреев, — слоняться на базарах, где торгуют арбузами и старыми коврами, разговаривать с погонщиками верблюдов, вечно жалующимися на их мерзкий нрав, особенно в период течки.

Армян я любил, а евреев — нет. С армянами приятно иметь дело, потому что они держат свою алчность под контролем. А с евреями никогда не покидает чувство, что вас облапошивают.

То, что для Троцкого было туристским погружением в лабиринт боковых тифлисских улочек, для меня явилось прямой дорогой в преступный мир.

Болтаясь по этим улочкам, я неизбежно должен был попасть в беду. Сначала спутавшись с ворами, потом с коммунистами.

Воры вообще-то неточное слово, в те времена в Тифлисе их называли «кинто», и фактически Троцкий пишет сейчас главу под названием: «Кинто у власти».

Для него «кинто» — это оскорбительное слово, для меня — в нем ностальгия и даже похвала. Но не в этом дело. А суть в том, что Троцкий снова ухватился за ниточку, аккуратно потянув которую можно распутать всю ту ткань, которую я сплел за многие годы. Паутина тифлисских улочек — это то место, где я приобщился к воровскому ремеслу. Одно дело — называть меня Чингисханом, и совершенно другое — собирать досье моих преступлений, начиная с самых мелких и кончая «этим».

Троцкий характеризует кинто как «героев улицы, бойких говорунов, певцов и хулиганов... От них Сталин научился грубости, умению виртуозно материться».

Для русских умение материться — это и спорт и искусство. Спектакль, разыгрываемый спонтанно и не сходя с места. Инстинктивно русские оценивают друг друга по этим способностям. Нет более жалкого зрелища, чем мужчина, не умеющий выругаться соответственно обстоятельствам. В этом отношении я поставил бы Троцкого на очень низкое место. Он ругается как интеллектуал, сатир, всем своим видом показывающий, что нарушает табу. В этом нет и тени искусства. Другое дело, когда вы стоите и просто слушаете из чистого удовольствия и любопытства узнать, что последует дальше, когда одно ругательство переходит в другое, растекается по боковым ответвлениям, а затем громоподобно возвращается к главной теме и взрывается с такой неистовой изобретательностью, что вы не в состоянии сдержать восторга и восхищенного смеха.

Да, именно у кинто я научился «виртуозно материться» и с ними познал нервную дрожь грабежа. Забравшись тайком в чужую квартиру, вы чувствуете фантастическую остроту жизненных ощущений. Ваш слух обостряется тысячекратно. Каждый скрип на лестнице, каждое тьяканье дворовой собаки, любое покашливание. Порой это трудно пережить.

Нашего главаря звали Обезьяна за его длинные волосатые руки, покрытые самодельной зеленой тагуировкой, и умение залезть куда угодно. Он вскарабкивался по водосточной трубе к окну третьего этажа и открывал нам дверь изнутри. Мы брали деньги и мелочи, которых люди не сразу хватятся. Но мы никогда не могли удержаться, если в доме оказывалась хорошая еда.

Иногда мы брали что-нибудь крупное — канделябр, серебряную шкатулку. А иной раз, если у Обезьяны было настроение, он накладывал кучу посреди комнаты.

Есть три причины, по которым так поступают грабители. Во-первых, это высшая степень презрения: я испражняюсь в вашем доме. Во-вторых, это утверждение свободы: если захочу, могу сделать и это. В-третьих, попытка обратить все в шутку: взял ваше дерьмо, оставил свое.

Но у кинто был один существенный изъян: им и в самом деле было на все насрать. Самое большее, что они могли вообразить, — это ограбление, которое позволит им безбедно жить до конца дней.

Это была мелкая рыбешка.

Но разве могло быть иначе? Если бы их что-либо заботило, они не были бы кинто.

Коммунисты хотя бы отличались широтой мышления. Они знали, чего хотят — убить царя, захватить власть.

То была третья великая идея в моей жизни:

Бога нет.

Человек произошел от обезьяны.

Убить царя.

Я на время бросил грабежи и погрузился в революционную литературу. Каждый день я проносил в семинарию один-два памфлета, испытывая чувство удовлетворения, когда, проходя мимо монаха в коридоре, я выдерживал его свирепый взгляд, — он видел перед собой честного, послушного семинариста.



Революционные памфлеты читались при свете свечи, обсуждались шепотом. Для обсуждения мы неизбежно разбивались на группы. Поскольку монахи без конца шастали по коридорам и подслушивали под дверями, обсуждения проходили в свободные часы с трех до пяти и от этого становились более эффективными.

Сначала наша группа сформировалась вокруг Серго, одного из старших семинаристов, который лучше всех умел объяснить, что такое капитал, эксплуатация, рабочий класс. Худой, высокий Серго так воспламенялся этими новыми идеями, объясняями мир, что не мог спать по ночам. Первое время я готов был учиться у Серго.

Но потом я ощутил нетерпение. Если я и не умел пока так ловко толковать идеи, как Серго, то понимал их достаточно хорошо, и он не мог меня ничему научить.

Внутри всякой группы существует разная степень лояльности к лидеру. Так же как с женщиной, верность которой мужу можно сразу определить, так и у нас одни были стойкие, другие — нет. Этих я выделил. Проводил с ними время. Рассказывал, как я вижу ту или иную проблему. Я понимал, что их во мне привлекает не моя трактовка идей, а что-то другое. Хотя я никому не рассказывал о моих похождениях с кинто, они, видимо, создали вокруг меня ауру бывалости и опыта.

Я инстинктивно экспериментировал с одним из принципов, который ляжет в основу моей карьеры, — искусством формирования фракционной группы.

Прохладным весенним днем мы кучкой бродили по парку, вдали от людей, там нас никто не мог подслушать. Я ждал, когда Серго выскажет первое положение, по поводу которого я смогу бросить ему вызов. Я хотел, чтобы столкновение произошло как можно раньше в этот двухчасовой перерыв, но не

хотел бросать ему вызов по любому поводу: повод должен быть таким, чтобы я мог нанести сопернику наибольший ущерб.

Наконец он сказал: «Есть такие вещи, которых никогда не должен делать революционер».

«Например?» — спросил я.

«Например... убивать невинных».

«Неверно. Враги революции уже тысячу раз доказали, что они не остановятся перед убийством невинных. Пока власть будет только в их руках, они всегда будут побеждать!»

Возник великий спор. Каждый хотел что-то сказать, и никто не хотел ждать своей очереди. Все заговорили разом, началась даже толкотня.

В какой-то момент, ничего не сказав, я сделал свой ход. Я повернулся спиной и ушел. Смысл был ясен: я выхожу из группы и каждый, кто желает, может последовать за мной. Двое пошли сразу, еще несколько лишь тогда, когда было уже приличное расстояние между нами и теми, кто остался с Серго.

Я достиг новой ступени в своем развитии — стал лидером команды, объединенной идеей. Я отдавал им все мое время и всю энергию. Мои отметки покапались резко вниз. С этого времени меня стали отправлять в подвал для наказаний за находимую у меня подрывную литературу; я больше не мог сдерживаться. Я сбрасывал маску и форму семинариста.

Закончить семинарию, стать священником хотя бы на секунду — сама мысль об этом стала мне ненавистна.

Я обрел собственную мечту, гораздо более смелую, чем та, что связывала со мною мать. Не остаться в семинарии до окончания — то был акт колоссальной веры в самого себя. Разумеется, разрыв с семинарией означал удар в самое сердце матери. Только я мог сделать так, чтобы ее мечта сбылась. Но только одна мечта может направлять жизнь, только

одна. Я должен был разрушить ее сердце. Кем бы я стал, если бы этого не сделал?

Уход из семинарии означал и большую личную жертву. Я должен был бросить мою команду. Но так ребята через страдание останутся верными делу и мне. Я спрятал запрещенную литературу в их матрасы и информировал об этом администрацию. Мне удалось впутать всех ребят и моей группы, и группы Серго, в то же время «запачкав» нескольких невиновных.

А затем исчезнуть.

Стоял 1899 год, последний год века фабрик и железных дорог, Дарвина и Маркса, — год, когда молодой человек вступил на путь, который приведет его в Кремль.

Именно здесь, в Кремле, я принял сегодня комиссию по организации похорон моей матери и указал им, что, хотя похороны могут быть традиционными, христианскими, на ее могиле не должно быть креста.

**ЧАСТЬ**

**II**

**Уйдя из семинарии, я на некоторое время снова стал кинто.**

Затем в возрасте двадцати лет я нашел работу в Тифлисской физической обсерватории, которая обеспечила мне жилище, пропитание и массу времени для возбуждения масс, что именовалось тогда «агитацией». Подполье было моей стихией, и я поднимался так стремительно, что уже через четыре года спорил с самим Лениным по политическим вопросам.

Странно, что Троцкому, оказывается, легче проследить мой путь в тени и извилах подполья, чем в двадцатилетие «надполья». Теперь он имеет возможность пользоваться полицейскими протоколами, воспоминаниями товарищей, знакомых с моей деятельностью и моим характером.

Те ранние годы, определившие угол моего взлета, представляют для Троцкого особый интерес. Напомнив, что меня тянуло к левым, «сторонникам жестких, насильственных действий», Троцкий пишет, называя меня моим детским прозвищем: «В силу его окружения в ранние годы, а также личного характера, было естественно, что Сосо инстинктивно склонялся к левому крылу. Плебейский демократ провинциального типа, оснащенный довольно примитивно

понятой «марксистской» доктриной, — таким он вступил в революционное движение и таким, в сущности, остался до самого конца фантастической орбиты своей личной судьбы».

Хотя последняя фраза представляет собой в основном набор шумных оскорблений, заканчивается она довольно мило. Троцкий сам себе худший враг. Его видение заслоняется облаком ненависти и оскорбленной гордости. Он взбешен тем, что судьба вознесла меня на «фантастическую орбиту», тогда как его орбита фантастически спикировала вниз. Быть превзойденным «примитивным» Сталиным — это противоречит его чувству справедливости и здравому смыслу. Это заставляет его уничтожать меня, хотя и постоянно сбивает с правильного пути. Правда, он все время на него возвращается.

Моя работа в те годы шла по абсолютно прямой линии. Прежде всего мне надо было утвердиться на арене.

Я был частицей маленькой группы революционных социал-демократов, что трудились в тифлиских железнодорожных мастерских. Подходящее место приступить к организационной деятельности. Я был еще достаточно молод, чтобы глазеть на маневровые паровозы черной клепаной стали, выпускавшие облака пара. Но для работы в мастерских были серьезные, веские причины. Именно тысячи километров железных дорог связывали Россию в единое целое. Вынь хоть одну шпалу — и все развалится.

Я сидел под навесом с полудюжиной железнодорожных рабочих. Мы пили чай и покуривали. Я выставил верного рабочего Данко снаружи, поручив следить за местными сыщиками. Изнутри один из рабочих ведет наблюдение через окно, мутное от мороза и угольной пыли.

Я все думаю: кто из этой шестерки полицейский информатор или только что решил им стать?

Пора начинать. Все дело в том, чтобы взять верный тон, найти нужные слова.

«Посмотрите, как живут хозяева по сравнению с вами, и все станет ясно, — говорю я. — Взгляните на их блядские дома, школы, больницы. Посмотрите своими собственными глазами».

Я замолкаю, давая им время осмыслить мои слова, и слежу за их реакцией. Не оскорбил ли мой язык какого-нибудь доброго семьянина?

«Властям плевать, увлекаетесь ли вы бутылкой, бьете ли жену и ходите ли в церковь молиться, их волнует одно — чтобы вы ишачили на них четырнадцать часов в день, а в конце недели протягивали руку, чтобы получить несколько вшивых рублей, благодарственно склонив перед ними голову».

«Но ведь у них все винтовки», — говорит один рабочий, за тридцать, железнодородная сажа въелась в морщины на его лице. Уверен, он считает, что я слишком молод.

«Не все», — отвечаю я, поглаживая себя по рубашке.

«Почти все».

«Но в чьих руках эти винтовки? Солдат. А кто такие солдаты? Солдаты — это сыновья рабочих и крестьян. А управляют ими офицеры, точно такие же люди, как ваши хозяева.

Вы знаете, что такое мировая революция? Мировая революция означает перевернуть что-то вверх ногами, — говорю я, делая быстрое круговое движение правой рукой. — И если солдаты повернут свои винтовки на офицеров, вместо того чтобы направлять их в народ, то это и будет революция».

«Вы никогда не убедите казаков», — возражает другой, темноглазый рабочий, щеки которого поблескивают от машинного масла.

«Казаки тоже не дураки», — говорю я, и они хохочут.

«Но мы не солдаты, а вы зовете нас выйти на улицы с протестом, а там нас будет поджидать множество глупых казаков».

«Вот почему мы должны вывести на улицы народные массы. Сила в массе. Четыре сотни людей против нескольких сотен казаков — одно дело, но если выйдут две или три тысячи, то это будет лавина».

«Вы хотите сказать, что казаки не ударят, если будет большая толпа?»

«Тут дело уже не в казаках. Это будет уже политическое решение. Казаки сделают то, что им прикажут. Чиновники, принимающие политические решения, могут решить, что лучше выждать, пока люди выдохнутся и разойдутся по домам. Или решат, что вы представляете серьезную силу, и вступят с вами в переговоры. Или могут послать казаков».

«В этом случае кто-то погибнет».

«Такое бывает на всякой войне», — говорю я.

Воцаряется тишина.

«А вы сами там будете?» — спрашивает рабочий с грязью в морщинах.

«Я там буду».

Внезапно все мы слышим клацанье металла по металлу. Все замирают; я усмехаюсь. Человек, смотрящий в окно, говорит: «Ничего. Данко уронил гаечный ключ».

Я был готов к аресту в любую минуту, но не подавал вида. Каждый мой шаг планировался так, чтобы избежать ареста: покидая депо, я пролезал под товарными вагонами, чтобы вернуться в Тифлис через кривые переулки на окраине. Мои глаза непрерывно сверлили улицу, чтобы сразу определить, кто впереди; в каком-то смысле даже моя спина тоже улавливала колебания внешнего мира.

Некоторые озлобленные коммунисты в России и антикоммунисты на Западе утверждают, что Сталин сотрудничал с царской охранкой, чтобы получать от них деньги. Они рассуждают: в те годы у Сталина не



было средств к существованию. Несколько его газетных статей в лучшем случае могли принести копейки. У Сталина не было прикрытия, как у печатника или железнодорожного рабочего, что дало бы ему доступ к рабочим и одновременно средства к существованию. У партии не было денег, чтобы платить своим организаторам. У охраны, напротив, было полно денег для вербовки осведомителей. У Сталина были деньги, значит, он мог получить их только от тайной полиции.

Это ущербная логика. Сталин был подготовлен к тому виду деятельности, который стирает грань между нуждой в деньгах и самими деньгами. Сталин был кинто, Сталин был вором.

Поэтому в то время я стремился избежать ареста царской охранкой за агитацию среди рабочих и обычной полицией за грабежи. Больше было шансов, что меня арестуют как организатора, просто потому, что тут было вовлечено больше людей. С этим ничего нельзя было поделать. Воров наказывали не столь сурово. Украсть деньги и украсть власть — вещи несоизмеримые.

Я пытался украсть и то, и другое. Для меня тут не было разницы. Деньги, которые я крал, давали мне возможность бороться с существующим порядком. Более справедливой комбинации нельзя было себе вообразить. Особенно «примитивному марксисту».

# 9

**Состоялась демонстрация, и я был тут как тут.**

В майский день 1901 года более двух тысяч рабочих собрались на Солдатском базаре в центре Тифлиса.

Прохладный весенний день, серо-голубое небо. Часть рабочих была одета по-праздничному, как для посещения церкви, но большинство пришли в рабочей одежде, словно демонстрируя, кто они такие, и держались решительно. Они хотели показать, что их много и что они осознают себя как класс. Я заметил, что у некоторых были молотки, ножи или цепи, запрятанные за рубашки или блузы. Я проинструктировал их, чтобы те, кто пойдет в первых рядах, оделись поплотнее, предпочтительнее в два пальто, потому что им придется амортизировать удар, если нападут казаки.

Моя задача состояла в том, чтобы идти в хвосте демонстрантов и наводить в их рядах порядок. Но они в этом не нуждались. Происходило что-то магнетическое. Группы сплывались сами по себе. Там, где сначала было десять темных пиджаков, вскоре становилось сорок. Я выглядел как все остальные, просто еще один усач с надвинутой на глаза кепкой. Я держался с краю, указывая рабочим, где идут их друзья: «Лало там дальше, слева, они тебя спрашивали».

Или: «Если ищешь ребят из токарной мастерской, они впереди».

Это была моя идея. Я обходил депо и спрашивал всех: кто самые сильные ребята? Некоторые, конечно, называли себя, но почти все говорили, что это ребята из токарной мастерской. А кто у них вожак? Шоста, отвечали мне. Тогда я шел в токарную мастерскую, находил Шосту. «Все говорят, что ребята здесь самые крепкие. Докажите это, возглавив колонну».

Я помчался во главу колонны, чтобы убедиться, что ребята из токарной мастерской держатся вместе и не разбрелись по группкам. Кое-кто действительно отошел, но в целом группа выглядела сплоченной. Шоста был впереди и кричал остальным, чтоб не отставали. Как бы то ни было, рабочие-токари нетерпеливо ждали момента, чтобы начать движение.

Я побежал в хвост, проверив по пути других организаторов. Иногда мы кивком подавали сигналы друг другу, но обычно делали вид, что не замечаем друг друга. Затем события начали ускоряться. Я еще немного понаблюдал за организаторами, чтобы посмотреть, не могу ли я у них чему-нибудь научиться, или я уже превзошел их всех.

Я увидел Ваню, одного из рабочих, который на мой вопрос, какие ребята самые крепкие, ответил, что это токари.

«Могу угостить куревом», — сказал я, предложив ему хорошие папиросы, которые я прихватил в одной квартире вместе с золотой медалью, которую наши, наверное, уже успели переплавить в обручальные кольца.

«Спасибо», — сказал он, всегда охочий до чужих папирос, особенно дорогих.

«Все ребята пришли?»

«Кроме Ники».

«Что с ним такое?»

«Он только что женился».

«Если он покажется, дай мне знать, может быть, я успею забежать к нему домой».

Он засмеялся и исчез среди демонстрантов.

Затем в течение нескольких секунд стало происходить нечто необыкновенное. Я даже не знаю, как это описать. Я просто стоял и смотрел, как эти темные пиджаки и темные кепки начали сливаться, пока тысячи их не превратились в единый живой организм. Громадное длинное темное существо двигалось, как бы прижавшись к земле. Вдруг все, чему меня учили, все, что я читал, все, чему молился, оказалось перед моими глазами; это было воплощенное слово.

Я понял, как это верно: сильный, единый, вооруженный рабочий класс мог свергнуть царский режим. И в этот прохладный весенний день они были объединены песней — «Марсельезой», которая возникла впереди и медленно растеклась по всей длине колонны.

Хотя с того места, где я находился, я не мог видеть тех, кто был впереди, я чувствовал, что они продолжают идти вперед; это был тот вид энергии, что передается толчками, как у поезда, когда локомотив трогается с места.

Люди переносили тяжесть тела с ноги на ногу, пока не начали шагать те, что стояли впереди них.

Затем внезапно, как боевой снаряд, взвились десятки красных знамен.

Звуки песни отражались от стен зданий. Теперь двигались все, и это вселяло ощущение силы, идущее от единения. Я тоже запел.

Мы шли по улице, обсаженной вечнозелеными деревьями, их освежающий аромат овеивал нас, укреплял наш дух.

Я побежал в голову колонны, пожимая на бегу руки, показывая всем, что я иду вместе со всеми.

Я подал знак Шосте, жожаку токарей, быстрым взмахом руки. Но старался идти, как бы говоря всем своим видом: у вас своя работа, у меня своя.

Мне хотелось испробовать вкус битвы. Я был молод. Мне хотелось узнать, что это такое и как я себя поведу. Но я, конечно, не хотел, чтобы мне шашкой отрубили руку.

У меня с собой был маленький револьвер. У него был легкий, быстрый спуск. Но только три патрона. Патроны всегда доставались с трудом.

Пока впереди ничего нельзя было разглядеть. Только пустая улица и начало длинной серой стены. Но я заранее обследовал маршрут и знал, что впереди нас ждет поворот. Я остался рядом с токарями. Теперь они пели «Варшавянку». По рукам переходили бутылки. Я отхлебнул добрый глоток холодной водки.

Теперь колонна шла быстрее, всем хотелось увидеть, покажутся ли *они* за поворотом.

*И они* показались, пока еще довольно далеко. Они блокировали улицу, ведущую к центральной площади. Серо-коричневое пятно, две сотни верховых казаков, бьющие копытами, выпускающие облачка пара лошади.

Я почувствовал, как поднимаются волоски у меня на руке, когда замедление шедших впереди послало по толпе электрический сигнал. Казаков увидели.

*И казаки* увидели нас.

План был прост. Показать им, что наш протест мирный, но если они атакуют, ответить силой на силу.

Теперь мы двигались медленно. «Не спешить!» — кричал я.

Расстояние между нами таяло. Подул ветерок, затрепетали знамена. Воздух стал прозрачно-ясный, как бывает перед снегопадом.

Им надо атаковать в ближайшие тридцать секунд, если они хотят, чтобы лошади успели занять исходное положение. Я по-прежнему работал с демонстрантами, постепенно передвигаясь к хвосту. Я попытался рассчитать, сколько нужно человек, чтобы поглотить первый натиск. И одновременно хотел быть поближе, чтобы ощутить, как шок пронзит мое тело.

И сражаться. Моя правая рука нырнула во внутренний карман, пальцы непроизвольно сжали рукоятку револьвера.

«Они атакуют!» — закричал кто-то впереди, и секундой позже я услышал цокот подков по булыжнику. Пение сменилось проклятиями, рабочие приводили себя в боевое состояние.

На какой-то момент, показавшийся мне бесконечным, демонстранты заколебались, как бы не зная, принять удар или атаковать самим, затем впереди раздался мощный клич и все рванулись вперед. Я вытащил револьвер, чтобы видом оружия подбодрить тех, кто был недалеко от меня, пропуская вперед еще несколько рядов.

И тут произошло нечто похожее на столкновение лоб в лоб двух локомотивов. В течение секунд пяти оставалось не ясно, чья возьмет, затем возникло ощущение, что мы уступаем, а они прорываются сквозь нашу внешнюю оболочку.

В воздухе слышались звонкие стуки копыт, свист нагаек и сабель, в глазах замелькали кровавые брызги.

Теперь казаки были от меня всего в нескольких метрах. Я рассчитал правильно. Они по-прежнему наседали, но в нескольких местах их стащили с седел наземь и били гаечными ключами и обрезками металлических труб. Я поднял револьвер и выстрелил, попав в руку одному из казаков. Радость охватила меня. Но тут меня подтолкнули сзади, и мой второй выстрел прошел мимо.

Я был возбужден, но хорошо понимал, что у меня остается только один патрон. Нагайки свистели совсем рядом, один из ударов зацепил мне шею. Чья-то отрубленная рука упала на землю. Стоял дикий крик. Пора смываться, подумал я. Свое дело я сделал. Теперь пусть история скажет свое слово.

Я предварительно проделал весь маршрут несколько раз и знал, что слева есть узкая улочка. Но пока

путь к ней был блокирован казаками; их шашки опускались на плечи и головы демонстрантов.

И тут я увидел свой шанс: несколько казаков, подвергшись атаке, сбились в кучу. Я проскользнул вместе с атакующими, но держась не вплотную к ним, а забирая все время влево. Увидел вожделенную улочку, пригнувшись, добежал до нее, ругаясь от боли, но все же заметив, как к толпе метнулись трое зевак, прихватив бочковую клепку.

Я не оглядывался, пока не пробежал больше сотни метров. Заметил верхового казака, преследующего одного из демонстрантов, их разделяло немалое расстояние, но видно было, как оно стремительно сокращается.

Передо мной оказались ворота, и я нырнул в них.

Даже издали я мог разглядеть лицо казака: светлая бородка, голубые свинячьи глазки и сочные красные губы, похожие на сырое мясо, словно с них содрали кожу. Рот его отверзался, когда он выкрикивал казачий боевой клич.

Рабочий и казак должны были пробежать мимо меня почти одновременно, и я спрятался в воротах, чуть отступив от улицы. Я видел только рабочего, лошадиный бок и нагайку, опустившуюся на голову рабочего и сбившую его с ног.

Казак по инерции пролетел вперед, но я понимал, что сейчас он затормозит, развернется и поскачет обратно к своим. Я вышел из ворот. Рабочий пытался подняться на колени, упираясь руками в землю, но у него ничего не получалось. Казак уже развернулся и скакал, стремительно набирая скорость, и, широко раскрыв пасть, громко кричал: «Уууу-раааа!»

Эти ярко-красные губы представляли отличную мишень на фоне его серой формы и серого неба. Когда он заметил, что я целюсь в него, лицо его приняло удивленное, скорее даже изумленное выражение, сменившееся свирепым оскалом. Он пришпорил коня и завопил еще громче. Ему не следовало этого делать.

Пуля прострелила ему горло, и он схватился за шею, точно пытаясь себя задушить. Он стоял на ступенях, а лошадь неслась по улице в сторону толпы, где она могла еще нанести ущерб демонстрантам: невинные люди, задавленные лошадью с мертвым казачком в седле, — разве это не хорошая пропаганда?

Я поднял раненого рабочего и перекинул его руку себе через плечо. Я ничего не сказал ему, пока не оттащил довольно далеко по кривой боковой тифлисской улочке. Остановившись и давая перевести дух ему и себе, я отер от крови его лицо и сказал то, чему меня учили: «Раны в голову сильно кровоточат, они всегда выглядят хуже, чем есть на самом деле. Не пугайся собственной крови».

Еще не вполне пришедший в себя, он объяснил мне, где живет.

Улицы были практически пусты. Все либо ушли на демонстрацию, либо заперлись в своих домах. Мы встретили старуху с осликом, одну из тех, что не знают, какой нынче век, она смотрела на нас со страхом и любопытством.

Он жил на втором этаже. По ступенькам он смог уже подняться самостоятельно.

Дверь открыла его жена и ахнула.

«Со мной все в порядке», — утешая ее, сказал он.

Она посмотрела на меня; в ее глазах была смесь осуждения и благодарности.

Я назвал свое имя: люди должны знать, кого благодарить.



**Организовав демонстрацию и убив казака, я должен был бесследно исчезнуть из Тифлиса.**

Но я не мог оставить без внимания тот факт, что половина квартир в городе в этот момент пуста, а вся полиция задействована на площади.

Набив карманы деньгами, я уехал в свой родной Гори, но, конечно, не к матери; она так и не узнала, что я приезжал. Мне было где спрятаться, пока все не улеглось, а это происходит рано или поздно.

У меня было много времени подумать о том, что я увидел, и написать одну из лучших моих ранних статей. Я пока еще не изучил науку диалектики и не знал о законах, заставляющих вещи оборачиваться своей противоположностью. Должно быть, я был прирожденным диалектиком, потому что даже в том возрасте понял, что казацкая нагайка — не оружие против революции, а скорее возбудитель революции. Нагайка превращала «любопытных зевак» в бунтовщиков.

«Любопытствующий» уже не бежит от свиста нагаек, а, наоборот, подходит ближе, а нагайка уже не может разобрать, где кончается простой «любопытствующий» и где начинается «бунтовщик». Теперь нагайка, соблюдая «полное демократическое равенство», не различая пола, возраста и даже сословия,

разгуливает по спинам тех и других. Этим нагайка оказывает нам большую услугу...»

Большую часть времени я проводил в доме, особенно первые несколько недель. Но никогда еще я не чувствовал себя свободнее и счастливее. Теперь я был настоящим Кобой, бунтовщиком, мстителем. Я стал тем, кем себя воображал.

Еще через неделю или десять дней пришла весть, что я могу двигаться, но с величайшей осмотрительностью.

Я был готов. Тифлис исключался по двум причинам. Во-первых, из-за полиции, а во-вторых, потому, что мой статус среди определенных партийных работников был низок. Они обвинили меня в создании раскольнических групп, в грубости в спорах. Я также обвинялся в ереси — выступал против включения рабочих в партийные комитеты, утверждая, что политически они в лучшем случае полусознательны, а кому нужен полудремлиющий машинист за локомотивом истории?

Высоколобым это было ненавистно, они не выносили, когда о народе и рабочих говорилось что-нибудь плохое, что делало их посмешищем в глазах того же народа и тех же рабочих, которым был свойствен здоровый скепсис и к самим себе, и ко всем остальным.

Ближайшим городом, куда имело смысл уехать, был Батум на Черном море, чуть к северу от турецкой границы. Население его составляло около тридцати тысяч, более трети из них — рабочие. Большинство трудились на нефтеперегонных заводах, где они вкалывали по четырнадцать часов в день, не видя солнечного света. Владельцем одного из таких заводов был Ротшильд.

Вернувшись к организаторской работе, я говорил рабочим: «Дело не только в том, что вашим заводом владеет еврей; к тому же он не из наших Раби-

новичей, а иностранных! Вы убиваетесь по четырнадцать часов в день, чтобы богатый иностранный еврей становился еще богаче. Разве может что-нибудь быть хуже?»

Они это проглатывали. Еще менее сознательные, чем тифлиссские рабочие, батумские были злее, их было легче вывести из себя.

Я писал зажигательные прокламации. Все это было легче легкого. Я сидел за столиком и писал, и как только страница была готова, я передавал ее печатникам, у которых был маленький настольный печатный пресс. Шрифт хранился в коробках из-под спичек, краску наносили сапожной щеткой.

Я вел организаторскую работу на обоих нефтеперегонных заводах Батума, но у меня всегда было такое чувство, что легче всего поднять ротшильдский, требуется только подходящий повод. Искра вспыхнула 25 февраля 1902 года, когда администрация вывела объявление об увольнении 389 рабочих. Немедленно начались забастовки, стычки с полицией и аресты, за которыми последовала демонстрация перед зданием тюрьмы, куда бросили рабочих. Наконец, 7 марта 1902 года две тысячи рабочих пришли к полицейским баракам и потребовали освобождения арестованных или же арестовать их всех. В Батуме не было казаков, поэтому на сей раз тайным союзником революции была не нагайка, а ружье. Сначала полиция попыталась разогнать рабочих прикладами, но когда рабочие в ответ взяли за булыжники, полиция открыла огонь. Пятнадцать человек были убиты, пятьдесят четыре ранены.

Моя роль была той же, что и в Тифлисе, за тем исключением, что я не стрелял и занимал позицию, откуда легко было бежать, — так и поступило большинство демонстрантов. Такие стычки не длятся долго. Насилие скоротечно.

Но меня это не устраивало.

Примерно через месяц, 18 апреля 1902 года — этот день я никогда не забуду, — долгое ожидание ареста сменилось реальностью.

С тех пор я не раз обсуждал науку и искусство ареста со многими профессионалами в этой области, и все они согласны в том, что первый арест не похож ни на какой другой. Нервное потрясение человека настолько сильно, что он какое-то время легко поддается воздействию. Это вроде работы огранщика алмазов, только тут стремятся алмаз сломать.

Инстинктивно я понимал это еще тогда. Я постоянно прибегал к самым крайним мерам, чтобы избежать ареста, и в то же время делал все возможное, чтобы к нему подготовиться.

Но в конце концов наступает момент, когда арест становится неизбежным, а подготовка не срабатывает.

Была пятница. Несколько рабочих-организаторов собрались, чтобы выпить красного вина, покурить и поговорить о делах. Настроение было тяжелое, раны кровавой бойни еще не затянулись. Но те из нас, кто соглашался со мной в том, что нагайки и ружья — друзья революции, были в хорошем настроении.

Кто-то как раз предложил поднять стаканы в память о пятнадцати рабочих, погибших под пулями полиции, когда наш стремной вдруг крикнул: «Они окружили дом!»

Это должно было случиться. И случилось.

Нервы мои напряглись, чаще забилось сердце. Но я старался сохранить ясную голову. Я говорил себе, что мне повезло: они не схватили меня одного на улице, и у меня остается еще несколько секунд приготовиться. Оставалось неясным только одно: не собираются ли они стрелять.

«Пусть царь согрешит со своей матерью!» — крикнул кто-то — естественно, не этими словами.

«Спереди и сзади», — добавил другой, и все загоготали.

Мы услышали стук их сапог в подъезде, затем удары прикладов в дверь, которая тут же рухнула, как игрушечная. Они ворвались с ружьями наперевес, с примкнутыми штыками.

Я медленно поднял руки вверх, уронив на пол папиросу. Стрелять они не собирались.

\* \* \*

Затем началось приобщение к тому, что вскоре стало обыденным, — к заключению.

Имя, фамилия, дата и место рождения. К стене. Посмотрите вбок. Смотрите прямо перед собой. Большой палец, указательный палец, нажимайте сильнее.

Они заставили раздеться, ища особые приметы — татуировку, шрамы, родимые пятна. Они обратили внимание на мои сросшиеся пальцы, но я не уверен, записали ли они это в тот раз или в 1903 году, как утверждает Троцкий. Они говорят о тебе, как будто тебя нет, это один из их приемчиков.

Батумская тюрьма пропахла хлоркой и испражнениями. Позднее я бывал в более знаменитых и интересных тюрьмах, память о них стерлась, но воспоминания о первой тюрьме свежи до сих пор.

Если вы никогда не испытывали ощущения первого входа в свою камеру и первого взгляда, брошенного на сокамерников, то вы, можно сказать, не жили. Энергетический шок, нервная система едва выдерживает напряжение. То, как вы переживете этот момент, определит вашу тюремную судьбу.

Я переступил порог камеры полный сил и готовый к схватке.

Среди троих моих сокамерников я сразу не встретил вызова; Абдуманов, рабочий, узбек с бледно-золотистой кожей, в черной тюбетейке, арестованный за участие в демонстрации, обернувшейся кровопролитием; Саша, партийный работник, высокий

светловолосый русский, взятый вместе со мной; и Бенно, единственный, встретивший меня улыбкой, когда я входил в камеру, которого, по его словам, подозревали в подделке денежных знаков.

Партиец Саша и я сразу невзлюбили друг друга. Он принадлежал по своему типу к партийным интеллектуалам. Для него я был просто уличным организатором, головорезом, прочитавшим несколько брошюр. Рабочий Абдуманов недоумевал, за что его арестовали, и беспокоился о жене и детях. Разговаривал я в основном с Бенно; не в том дело, что нам было о чем говорить, просто ради компании.

Я сразу же взял за правило делать утреннюю гимнастику. Все считались с тем, что некоторая часть пола принадлежит мне в определенный час. Бенно это забавляло, Абдуманову было все равно, а Саша относился к этому с презрением, которое маскировал какой-нибудь деятельностью, например общался с другими камерами, перестукиваясь шифром, — он даже играл так в шахматы, используя вместо фигур кусочки хлеба и лист бумаги вместо доски.

Гимнастика в тюрьме — это особая наука. Вы хотите, чтобы ваши мускулы были в форме, — значит, надо прыгать и вообще заставлять кровь быстрее бежать в жилах. Так вы поддержите и физические силы, и моральный дух. Но не надо чувствовать себя слишком хорошо. Потому что чем больше ваши силы, тем толще кажутся тюремные стены.

Тюрьма — это вторая семинария. Мрак и уныние. Строгие правила. Занятия. Чтение нелегальной подрывной литературы, которую тайком доставляли визитеры, минуя нерадивую охрану.

Я прочитал кое-что из Маркса, но меня больше интересовали русские авторы, которые приспособивали марксистскую теорию к революционным действиям. Я продолжал читать разных авторов, надеясь найти книгу, которая скажет об этом самым ясным

для меня образом. Такой книгой явилась «Развитие капитализма в России» В. Ильина; мысль его парила высоко, как горный орел.

Я начал расспрашивать о нем. Все, что мне удалось выяснить, сводилось к тому, что Ильин был псевдонимом русского эмигранта по фамилии Ульянов, которого многие считали истинным лидером революции или хотя бы будущим лидером. Я узнал также, что его брат был повешен как террорист. Оставалось еще три года до моей встречи с самим автором, который к тому времени взял себе имя Ленин.

Итак, моя первая связь с Лениным возникла из чтения его книги в тюрьме, то была встреча умов в чистом виде.

«В чем смысл этой ерунды, именуемой «марксизм»?» — спросил фальшивомонетчик Бенно, когда мы прогуливались в тюремном дворе, двигаясь, как нам было велено, длинной шеренгой по кругу.

«Тебе нравятся типы, которые тебя сюда засадили?» — сказал я, отвечая вопросом на вопрос.

«Нет. Но кто сказал, что это сборище паяльщиков и книжных червей лучше?»

Я засмеялся, даже хлопнул себя по ляжке. Бенно это понравилось.

Тогда я добавил: «Но мы хотя бы больше на тебя похожи».

«Ты — может быть, — сказал он, — но не этот тип в нашей камере».

«Саша хочет улучшить мир, чтобы он стал похож на него самого», — сказал я, и теперь настала очередь Бенно смеяться.

Фальшивомонетчики в моем представлении были худые, а Бенно был похож на бульдога. У него была короткая стрижка и близко к носу посаженные глаза. Руки казались непропорционально короткими, но крупные пальцы всегда мелькали в воздухе, когда он говорил.

«Ты на каких купюрах специализировался?» — спросил я его.

«На сотенных. Мои были не хуже настоящих».

«И почему ты их продаешь?»

«Тридцать копеек за рубль. А почему ты спрашиваешь? Заинтересовался?»

«Есть о чем подумать. Партия всегда нуждается в деньгах. И как мы оба знаем, есть много способов достать деньги».

Бенно усмехнулся и махнул рукой.

Этот разговор нас сблизил.

А мне это создало проблемы. Строгие партийные товарищи считали общение с профессиональными преступниками недопустимым. Распространился слух, что я провожу слишком много времени с Бенно, а также с другими уголовниками, с которыми меня познакомил Бенно. Некоторые из политических стали демонстративно меня избегать.

Это презрение разделял и Саша. Он выказывал его по мелочам. Общался все время с Абдумановым, пытаясь поднять его классовое сознание. Абдуманов стал злее и жестче. Он из бунтовщика превращался в революционера, как я писал об этом в своей статье.

Конечно, Саша всегда мог сказать, что он делал то, что положено хорошему партийному организатору, но я понимал, что прежде всего это вызов моему авторитету в камере.

Теперь в тюремном дворе строгие партийные товарищи начали держаться вместе, показывая, что их много. А я демонстративно прогуливался с Бенно.

«Бенно, послушай, на днях я хочу выяснить отношения с Сашей. Как можно скорее. Тебе плевать на все эти разговоры о революции, но я хочу спросить, будешь ли ты на моей стороне, когда дойдет до дела?»

«Я хороший сосед, я всегда помогу. Хочешь устроить небольшую потасовку — ударь пару раз по голове. Дай мне знак. А он это заслужил, зануда».



Но я прогулялся и с Абдумановым. «Саша неплох, — сказал я ему, — но он не из наших. Конечно, он получит срок, этого следует ожидать, но они все время отдают спорам и сочинению книг».

«Это верно», — сказал Абдуманов.

«Я хочу тебе кое-что сказать. Рабочий класс может победить. Рабочих много. Но победить можно, лишь имея правильных людей в руководстве. Вопрос поэтому такой: кого ты бы хотел видеть впереди — людей с оружием или людей с книгами?»

«Хороший вопрос», — сказал Абдуманов.

Через пару дней я лежал на своей койке, притворившись, что сплю. Бенно отжимался на полу, опираясь на кончики пальцев. Саша разговаривал с Абдумановым приглушенным голосом. Не думаю, что из вежливости, просто он не хотел, чтобы я слышал, что он говорит. «Да, — говорил Саша, — будут новые демонстрации и новые вспышки насилия. Этого не избежать. Но это не значит, что ради приличной зарплаты и социальной справедливости надо поднимать рабочий класс на войну с системой. Достаточно всеобщих забастовок, парализующих страну, и вы получите все, что хотите».

«Это сушая ерунда, — сказал я, поднимаясь с койки. — Никогда они вам ничего не дадут. Схватишь их, они обманут, вы вернетесь на работу, а через пару месяцев все придется начинать сначала. Тогда они бросят новые отряды казаков и положат столько людей, что надолго вперед отобьют охоту выходить на новые демонстрации. А произойдет именно это».

«Вовсе нет!» — сказал Саша. — Рабочему классу не нужно брать власть. Все, что ему нужно, — это понять, что власть и так в его руках».

«Я докажу, что это чепуха, — сказал я Абдуманову. — Прямо сейчас».

Бенно прекратил свои упражнения и встал сзади, отряхивая руки от пыли.

«Никто без борьбы власть не отдаст, — сказал я. — Если вы хотите получить власть, ее придется у них отнять. И так же будет с тем, кто попробует отнять власть у меня».

«Это типично для твоего образа мыслей уголовника — думать, что я хочу отнять у тебя власть, — сказал Саша. — Меня интересует лишь одно: надо высвободить силу рабочего класса, что тебя, похоже, совсем мало занимает. Ты больше интересуешься болтовней с мошенниками и ворами в тюремном дворе. У них у всех прозвища из тех же дешевых романов, что и у тебя, Коба».

«Не думал, что интеллигенты прибегают к личным оскорблениям в таком важном деле, как разъяснение правды представителю рабочего класса — власть надо брать силой, потому что ее всегда будут удерживать силой», — сказал я, глядя Саше в глаза, а затем посмотрел на Бенно.

Бенно ударил Сашу сзади, крикнув: «Кто ты такой, чтобы грубить ему?»

Саша повалился на меня. Я ударил его коленом в живот, и он рухнул на пол, как мешок. Бенно несколько раз стукнул его по почкам, крича: «Я тебе голову проломлю, если позволишь такое себе еще раз!»

Все было кончено. Саша заполз на свою койку.

Я сказал Абдуманову: «Вот так».

«Да», — сказал он.

Через неделю мне исполнилось двадцать три.

**«Поразительно, что протоколы допросов Кобы, относящиеся к этому первому аресту... не опубликованы до сих пор», —**

говорит Троцкий, предположив, что причина заключается в том, что я рассчитывал больше «на свою личную хитрость», а не «на норму, обязательную для всех». Честь революционера обязывает его протестовать — я отвергаю все обвинения против меня, я отказываюсь давать показания или принимать участие в любом тайном следствии. В таком роде.

«Удивление» Троцкого облегчает мою задачу. Оно говорит о том, что он не нашел никаких документов, относящихся к моему первому допросу, который сам по себе принял несколько поразительный поворот.

Через несколько дней после того, как мы с Бенно поставили Сашу на место, в камеру вошли тюремный надзиратель и охранник. Надзиратель держал в руке список, охранник — цепи и кандалы.

Было названо мое имя. Я встал.

«Этого в спецкамеру шесть», — сказал надзиратель охраннику, тот начал надевать на меня наручники.

Мне это не понравилось. Я посмотрел на своих сокамерников. Саша ухмылялся, Абдуманов выгля-

дел испуганным, Бенно пожал плечами. Мы все слышали о спецкамерах, но никто из нас еще там не побывал.

На мои ноги надели кандалы и соединили их цепью с наручниками, так что я вынужден был идти быстрыми мелкими шажками, согнувшись.

Идти пришлось далеко, мы огибали один угол за другим, коридор был едва освещен. Я старался запомнить дорогу, как будто это могло иметь какое-то значение.

Несколько потерявших рассудок заключенных кричали в своих камерах. Но я к этому уже привык, это был звук, присущий тюрьме, как визг тормозов — трамвайному депо.

Охранник подал знак остановиться, положив тяжелую мясистую руку мне на плечо. Я чувствовал, что эта рука готова ударить меня по голове, если я откажусь повиноваться.

Но он почтительно постучал в дверь под номером шесть. Дверь была точно такая же, как и все остальные: дерево и сталь, окошечко для раздачи пищи, глазок, закрытый металлическим щитком, который можно сдвинуть вбок.

Голос изнутри дал разрешение войти, и охранник открыл ее передо мной.

Мои глаза прежде всего обратились к сидевшему за столом человеку. Лет сорок, зачесанные назад каштановые волосы, приветливое лицо, контрастирующее с острыми, жестокими глазами. Никаких орудий пыток в камере я не увидел. Она была несколько просторнее и удобнее остальных камер, с настоящей кроватью вместо нар. Я не понял, зачем она здесь, — быть может, следователи спали на ней, когда проводились массовые аресты и им приходилось начинать работу с раннего утра.

Едва заметным кивком головы человек за столом указал мне на стул, и я сел.

«Снимите наручники, кандалы оставьте», — сказал он охраннику.

Когда охранник вышел, он сказал: «Я ваш следователь, капитан Антонов Борис Филиппович, и вам надлежит отвечать на мои вопросы. Фамилия?»

«Джугашвили».

«Имя?»

«Иосиф».

«Отчество?»

«Виссарионович».

«Дата рождения?»

«Двадцать первое декабря тысяча восемьсот семьдесят девятого года».

«Род занятий?»

Секунду я не знал, что сказать. Я же не мог назвать себя партийным организатором или вором. Поэтому сказал: «Поэт».

Антонов посмотрел мне прямо в глаза, проверяя, выдержу ли я его взгляд. На секунду мне показалось, что он мне почти поверил. В те дни революционеры и поэты выглядели одинаково — длинные волосы, борода, жалкая одежда, клетчатый платок вокруг шеи.

«Таким образом, — сказал он, подняв вверх ручку, — к организатору и вору я должен добавить поэта?»

На какое-то мгновение у меня было жуткое чувство, что он проник внутрь меня и читает мои мысли. Но затем сообразил, что они, конечно, знают, что я организатор, а вор — это обвинение можно было бросить как оскорбление, хотя, быть может, у них были подозрения, почему бы и нет?

«Поэт», — повторил я.

Он улыбнулся, словно и впрямь чему-то обрадовался, и что-то записал в моем деле.

«Я сам люблю поэзию, — сказал он. — Особенно стихи Пушкина о Петербурге, который, как вам известно, он называет «строгим и стройным». Я из Пе-

тербурга, и находиться здесь мне отвратительно. Слишком душно и жарко. Нет зимы. Мне нравится также стихотворение, в котором Пушкин предвидит свою смерть, — помните: «Брожу ли я вдоль улиц шумных, / Вхожу ль во многолюдный храм, / Сижу ль меж юношей безумных, / Я предаюсь своим мечтам...» Однако новому Пушкину вроде вас не пристало сидеть в вонючей камере и думать о смерти. Поэту вроде вас больше подошла бы эта приятная камера с настоящей кроватью и письменным столом, пером и чернилами, книгами и горячим чаем.

Я утвердительно кивнул.

«Итак, — продолжал он, — представим себе, что поэт вроде вас приговаривается к ссылке в Сибирь на три года. Куда же он будет сослан? В деревню, где можно жить человеческой жизнью, или в Богом забытый, кишачий болезнями поселок за Полярным кругом?»

Антонов откинулся на своем стуле и раскинул руки, как бы демонстрируя всю несоизмеримость этой альтернативы.

Но я это соизмерил. Мне не нужна комфортабельная камера. Я могу провести год в тюрьме. По-юношески романтично, я даже хотел пройти испытание тяжкими условиями жизни. К тому же, если они могут упрятать меня за Полярный круг, я смогу попробовать бежать оттуда. У партии есть свои люди во всех губерниях. Любой, кто занимается партийной работой, это знает.

А что значат более благоприятные условия? Предательство товарищей, активная помощь царской охранке.

«Одно из преимуществ поэзии, — сказал я, — состоит в том, что не требуется ни перо, ни бумага. Ею можно заниматься в голове. Говорят, что ваш любимый Пушкин лучшие свои стихи написал в ссылке».

Антонов слегка подвинулся на стуле и быстро сказал: «Пушкин был сослан в собственное имение, а

не в те места, где половина осужденных каждую зиму умирает от голода. — Тон его стал жестче. — И не забывайте, что во время бунта погибли люди. Так что речь идет о крайне тяжком преступлении. Зачинщиков вздернут. Мы не выявили еще всех вожаков, но легко предположить, что на допросе они будут держаться вызывающе, не так ли?»

Внезапно кандалы на моих ногах показались неподъемными. Антонов был представителем государства, которое располагало властью убивать, и мне только что напомнили об этом. Если бы я на самом деле верил, что передо мной стоит выбор между предательством своих товарищей и моей собственной жизнью, я бы без колебаний спас собственную шкуру. Но я не верил.

«Выпить немного вина вечером в пятницу не составляет тяжкого преступления, даже в России».

«Слушайте меня внимательно, господин поэт, потому что я скажу вам сейчас нечто такое, чего вы не ожидали услышать. Много людей сидело передо мной на том же стуле, что и вы. И всех их можно свести к нескольким основным типам. Среди них слабаки, которых легко сломать, и истово верующие, с которыми приходится повозиться, как ваш сокамерник Саша, который, по-видимому, успешнее противостоит нам, чем вам».

Это меня огорошило. Обескуражило. Видимо, он знает все, что происходит в камере. Кто же проговорился? Саша, чтобы поквитаться со мной? Абдуманов, чтобы ему смягчили наказание? Или Бенно, который способен на все?

Я посмотрел на Антонова. На его лице было торжествующее, снисходительное выражение, как будто ему было известно, о чем я думал.

«Вам может показаться делом случая, кто с кем оказывается в камере, — сказал Антонов. — Обычно так и бывает. Но не всегда. Иногда мы устраиваем

маленькие эксперименты. Швыряем рабочего с двумя политическими, чтобы выяснить, кто из них настоящий, опасный активист».

«В вашем эксперименте есть слабое место».

«Какое же?»

«Вы полагаетесь на доносы фальшивомонетчика».

Антонов усмехнулся, но не проглотил наживку. «Итак, — продолжал он, — есть такие, что легко ломаются, верующие, которые покрепче, и есть еще такие, как вы. Не слабаки, но и не настоящие фанатики. У них на уме что-то иное. А что именно, они сами не знают. Во всяком случае, пока. Но скоро поймут. Они просто хотят быть сверху, а сверху чего — для них второстепенно. Это вы, господин поэт, вот почему я убежден, что мы с вами говорим на одном языке».

В этот момент я испытал неожиданное чувство по отношению к Антонову. Чувство благодарности.

Но длилось это лишь одно мгновение. Он по-прежнему настаивал, чтобы я предал товарищей. Некоторые учили меня премудрости, другие не скрывали презрения ко мне; вряд ли Саша был из числа первых. Но я предал бы товарищей только ради спасения собственной жизни. Или ради другой цели, которую счел бы столь же важной. Хотя и не понимал, какой может быть эта иная цель.

Вспышка тактического прозрения промелькнула в моей голове. Если мне суждено предать товарищей, это не должны быть те, кто относился ко мне оскорбительно, потому что логическая схема тут очевидна. Уничтожать врагов свойственно всякому. А вот уничтожать друзей — тут нужна свобода особого рода.

На несколько секунд я ушел в себя, не видя перед собой ни комнаты, ни Антонова.

Быстрее, чего ты хочешь? — спрашивал я себя. Возглавить грузинскую революционную организацию.

Может ли мне в этом помочь полиция? Конечно, они могут мне помешать, это совершенно ясно.



Но если я начну с ними сотрудничать, они меня не арестуют и не сошлют, во всяком случае, это будет не слишком часто и на не слишком длинные сроки. И конечно, ничто не может мне помешать тайно передавать им информацию, с помощью которой я избавлюсь от тех товарищей, чье положение я захочу занять.

Да, но с риском для собственной жизни: революционеры карают смертью двойных агентов.

И все же это была интригующая возможность — не самому работать на царскую охранку, а заставить царскую охранку работать на меня.

Снова перед моими глазами возник Антонов, который нетерпеливо теребил пальцы.

«Я мелкая рыбешка», — сказал я.

«Со временем рыбки становятся крупнее».

**Роясь в моих полицейских досье,**

Троцкий обнаружил, что в тюрьме я предпочитал общество уголовников, но единственное, что он может подкрепить документами, — так это факт, что я не всегда вел себя «геройски». Само по себе это меня не беспокоит. Меня беспокоит, что Троцкий работает над материалами, касающимися моих уголовных наклонностей, как раз в то время, когда должен начаться третий Московский процесс. Назначенный на начало марта 1938 года, процесс может вызвать в мыслях Троцкого целую серию нежелательных ассоциаций. В некотором роде я сам тоже окажусь на скамье подсудимых, а Троцкий будет сидеть за судебским столом.

Тогда почему бы не уничтожить Троцкого прямо сейчас? Кто знает, может быть, мне стоило это сделать, когда он еще был в России, а не в мексиканском далеке в хорошо укрепленном доме.

Но если бы я убил его в России, я сделал бы из него мученика. Его могила стала бы символом, местом тайных встреч. И если бы я убил его прежде, чем уничтожил его сторонников, его организация распалась бы на множество групп, которые было бы труднее выследить и ликвидировать.

Нет, есть определенная логика и порядок приоритетов в таких вещах. Троцкого можно убить только после того, как исчезнут его последователи и его организация. Первое по значению должно стать вторым по исполнению.

Но это значит пойти на определенный риск. Что, если Троцкий уже что-то нащупал относительно *этого*? Мне плевать, пусть обвинит меня хоть в том, что я в Кремле пожираю младенцев; без твердых доказательств и свидетельств это будет лишь очередная вспышка истерии, которая столь отвращает западных интеллектуалов вроде Шоу.

А что, если Троцкий и впрямь начал собирать свидетельства об *этом*?

Но и тут у меня есть определенные преимущества.

Лева, сын Троцкого, из Парижа руководит европейскими делами отца и издает «Бюллетень оппозиции», в котором я подвергаюсь непрерывным нападениям. За последние четыре года, начиная приблизительно с 1934 года, правой рукой Левы является Марк Зборовский, милый польский еврей, пишущий едкие статьи для «Бюллетеня» под псевдонимом Этьенн. Одновременно он пишет краткие доклады, которые поступают прямо ко мне.

Хотя Этьенн отдает организации Троцкого свои литературные таланты, он не пренебрегает более скромными делами, такими, как просмотр почты, сортировка корреспонденции. Это значит, что у него есть доступ к переписке Троцкого с сыном.

Донесения, поступающие ко мне от Этьенна, всегда содержат интересные отрывки из этой переписки, и я доверяю его способности отделять зерна от плевел.

В последнее время отношения между отцом и сыном стали довольно напряженными. Троцкий слишком много хочет от молодого человека, требует доставать любые документы, способные опровергнуть

выдвинутые против него на Московском процессе обвинения. Недавно он написал бедному парню: «После всего, пережитого мною за последние месяцы, я должен сказать, что не было еще такого черного дня, как сегодня, когда я распечатал полученный от тебя конверт, в надежде найти в нем свидетельства, а нашел лишь извинения и заверения... Трудно сказать, какие удары хуже: те, что идут из Москвы, или из Парижа».

Это просто неточно и несправедливо.

Наша разведка и служба безопасности оценивает Леву гораздо выше, чем его собственный отец. Наши люди всегда говорят: «Парень хорошо работает, без него старику пришлось бы гораздо труднее».

Уязвленный отцом, Лева естественным образом сблизился с Этьенном. Сам Этьенн пока пользуется полным расположением Троцкого главным образом благодаря помощи, которую он оказывает Троцкому в его работе над биографией Сталина, — он находит старые газетные публикации, разные документы, воспоминания. Поэтому я знаю, какой период моей жизни в данный момент интересует Троцкого, еще до того, как этот материал к нему поступает.

Но хотя присутствие Этьенна в центре парижских операций Троцкого дает мне большие преимущества, оно имеет свои пределы. Имея возможность инструктировать Этьенна, чтобы он меня предупредил, если Троцкий затребует документы, относящиеся к тому периоду, когда происходили самые чувствительные для меня события, я все же не могу быть откровенным с Этьенном. Он не должен знать.

Другая проблема в том, что Троцкий, возможно, создал специальную бригаду для исследования более значимых моментов, имеющих отношение к Сталину. Похоже, он потерял веру в сына и не хочет доверять ему это наиважнейшее дело.

История иной раз умеет становиться дьявольски сложной. Вам кажется, что вы видите происходящее,

а потом выясняется, что в это время происходило что-то еще.

Посмотрите на Суханова, который написал живой отчет о революции; вне сомнения, он полагал, что его рассказ отражает реальность. Но имя Иосифа Сталина в нем едва упоминается. Так каким же образом Сталин оказался на самом верху?

Довольно странно, что человеком, заметившим мое появление в те горячие дни, был молодой наивный американец Джон Рид, автор книги «Десять дней, которые потрясли мир». Немного позднее он сказал о Сталине: «Он не интеллигент, как другие, кого вы здесь встретите. Он даже не особенно хорошо информирован, но он знает, чего хочет. У него есть сила воли, и в один прекрасный день он окажется на самом верху».

С другой стороны, Суханов, который часто меня видел, вспомнил обо мне как о некоем «сером пятне». Суханов, расстрелянный в 1937 году, вероятно, считал, что за формальными обвинениями, выдвинутыми против него, стояла месть за нанесенное мне оскорбление. Отнюдь нет.

Я намеренно был «серым пятном». Никто не заметил моего появления. И это только логично. Учитывая, кто я такой, я не мог действовать иначе.

Никто не заметил появления Гитлера. А теперь уже слишком поздно. Теперь всем остается только смотреть, как он начинает действовать. Всего несколько дней назад, 4 февраля 1938 года, Гитлер назначил себя Верховным главнокомандующим германских вооруженных сил. Нет ничего плохого в одном-двух звучных титулах, но главное — это реализация власти. Поэтому единственный вопрос — в том, где и когда он это сделает впервые. Я поспорил на десять рублей с моим наркомом иностранных дел Молотовым. Он считает, что Гитлер сначала аннексирует Судетскую область, потому что она мала и никому

до нее нет дела. А я сказал: «Нет, Гитлер и в самом деле верит во всю эту дребедень насчет Народа с большой буквы и сначала захватит Австрию». Какое-то время Молотов проявлял беспокойство, что выиграет у меня пари, но потом пожал мне руку и сказал: «Твоя взяла, бери десять рублей».

«Так, даже если вспыхнет мировая война, — заметил я Молотову, — это будет не полный крах: один из нас выиграет несколько рублей».

Еще одна веская причина ликвидации Троцкого состоит в том, что он отнимает у меня столько времени, когда я должен все свое внимание переключить на Гитлера, в распоряжении которого реальная армия, а он — ее Верховный главнокомандующий.

Всего через несколько дней после того, как он назначил себя командующим, Этьенн информировал меня прямо из Парижа, что у сына Троцкого острый приступ аппендицита. Лева откладывал лечение, выполняя бесконечные поручения отца, но теперь ждать больше было нельзя, и завтра он ложится в Русский госпиталь в Париже. Этьенн лично проследит за его лечением. Я подал Этьенну нужный сигнал.

Этьенн — очень чуткий, отличный оперативный работник; он никогда ничего не делает сам, но всегда знает, кого привлечь, что он доказал, выполняя первое серьезное поручение — похищение всего парижского архива Троцкого два года назад. И все же я очень нервничал следующие несколько дней и курил больше обычного.

Но вся меланхолия прошла, когда я получил очередной доклад Этьенна — краткий, деловой, без единого лишнего слова:

«Зарегистрированный как месье Мартэн, французский инженер, Лева 9 февраля подвергся операции аппендицита. Операция прошла успешно. Однако на третий день нормального выз-

дорования пациент внезапно впал в беспамятство. Повторная операция и переливание крови не увенчались успехом, и он скончался 16 февраля 1938 года. Жена потребовала провести вскрытие — она подозревала отравление, — но оно не выявило признаков преступления. Больничные доктора считают причиной смерти кишечную непроходимость, сердечную слабость и низкую сопротивляемость организма. Известный врач, друг семьи Троцкого, согласен с этим выводом. Ситуация неясна и, вероятно, такой и останется».

Кого в этом винить? В исторических масштабах — Гитлера, который создал напряженность в международных отношениях, назначив себя Верховным главнокомандующим германских вооруженных сил. Это в свою очередь заставило Россию обратить большее внимание на Гитлера. Но это было невозможно, пока жив Троцкий. А Троцкого нельзя убить, пока не закончится последний Московский процесс над троцкистскими предателями и пока его организации здесь и за рубежом не будут ликвидированы.

И сам Лева тоже виноват. Он должен был жить своей жизнью, а не становиться мелким помощником отца. Не в том дело, что это имело бы какое-то значение. Какой сын вообще мог угодить Троцкому?

Лева также виноват в том, что впутался в игру, к которой он не имел никаких способностей. Скрестить мечи со Сталиным, а затем сделать своей правой рукой Этьенна — это просто несерьезно. Но в конечном счете наибольшая тяжесть вины ложится на плечи самого Троцкого. В конце концов, он отец и должен был понимать больше, чем его добросовестный тридцатидвухлетний сын. Он должен был понимать, что мальчик не создан для такой жизни, для такой работы. Он должен был отпустить его, сказать ему: займись тем, что сделает тебя счастливым.

Но нет, он предпочел эксплуатировать энергию и таланты мальчика ради обреченного дела. Троцкий и сам не должен был ввязываться в игру. Но и его, и сына впутал Этьенн.

А вот что он должен был делать постоянно — это проверять безопасность. Ведь просто оскорбительно: за него это делаю я.

Троцкий не должен был заставлять сына работать до изнеможения и бросать ему обвинения, что он хуже Москвы. Он должен был постоянно предупреждать сына об исходящей из Москвы опасности, ибо она всегда целится в голову и ударяет в самое слабое место, да так, что ничего, кроме «серого пятна», и не разглядеть.



**Хотя аппендицит сына Троцкого явился чистой случайностью, у меня были веские причины уничтожить его в феврале 1938 года.**

Я хочу, чтобы накануне последнего большого Московского процесса, который, если всех обвиняемых убедят сотрудничать, откроется в начале марта, Троцкого отвлекло личное горе. Из всех обвиняемых двое имеют особое значение: Бухарин, «любимец партии», как его называл Ленин, а также и всеобщий любимец, и Ягода, бывший глава НКВД, человек, который ничьим любимцем не был.

Хотя Троцкий будет полностью поглощен своим горем, он несомненно будет пристально следить за процессом. Троцкий знает, что это будет последний из великих показательных процессов по той простой причине, что значительных личностей больше не осталось. Он должен понимать и то, что если Сталину удастся засудить этих последних значительных личностей, у него будут развязаны руки, чтобы ударить по самому Троцкому.

Я надеюсь, что горе отвлечет Троцкого от процесса. Но и процесс может отвлечь его от горя. И процесс может породить в его голове кое-какие идеи. А

тогда он вернется к своим изысканиям со свежим пылом. Особенно потому, что после смерти сына у него есть новый стимул желать моего уничтожения.

В некрологе сыну Троцкий писал: «Первое и естественное предположение: он был отравлен. Получить доступ к Леве, его одежде, его еде не составляло больших трудностей для сталинских агентов... Искусство отравления развилось до необычайного уровня... Вполне возможно, что сейчас есть яд, который нельзя обнаружить после смерти даже при самом тщательном анализе».

Для человека, который поглощен горем, старик мыслит очень ясно.

Процесс Двадцати одного очень важен для меня и на международном фронте. Мир будет наблюдать. Иностранцы будут присутствовать. Мне не нужны никакие колебания, никакие неловкости.

Я ежедневно получаю письменные доклады, копии, письменные признания. Всегда есть такие, что признаются, а потом отказываются от признаний. Есть и такие, кто настолько запутался то признаваясь, то отказываясь, что нет никакой уверенности, как именно они поведут себя на публичном процессе.

Допросы, представляющие для меня особый интерес, проводятся в комнате, которая связана проводами с моим кабинетом в Кремле, и я могу их слушать либо через микрофон, либо через телефонную трубку.

В некотором роде это высшая стадия искусства прослушивания, ибо есть возможность чувствовать каждый нюанс, каждую осуждающую нотку.

Насколько искренни эти признания? Способ ли это получить передышку от пыток, или же человек действительно сломлен?

На процесс приглашена иностранная пресса. Все должно быть сделано аккуратно. С соблюдением decoruma.

Если подать преступления обвиняемых как следует, западные журналисты и политики скажут: «Конечно, у Сталина есть враги, как может такой человек не иметь врагов? И то, что он обращается с ними жестко, неудивительно, чего вы ждали, это Россия, а не Швейцария».

А русские скажут: «Прежде всего, как могло случиться, что еврей Ягода пробрался к руководству НКВД? Да и с этим Бухариным тоже не все гладко, любимец он или не любимец».

Но это только в том случае, если их преступления будут преподнесены должным образом, без каких бы то ни было колебаний или неловкостей. И поскольку это так важно для меня, я не ограничиваюсь письменными докладами и прослушиванием. Когда требуется, я сам веду допрос.

С точки зрения, так сказать, тылового обеспечения это дело нетрудное. Поздней ночью мне нужно всего пять минут, чтобы доехать от Кремля до Лубянки; это не только штаб-квартира наркомата внутренних дел и тюрьма для особо опасных преступников, но и расстрельные подвалы и даже маленький крематорий — все под одной крышей.

И ведь дело не просто в том, чтобы сесть в машину и доехать. Нужны некоторые приготовления.

Вчера вечером в течение тридцати минут я слушал допрос Ягоды и остался абсолютно не удовлетворен его ходом. Все-таки этот человек был главой тайной полиции, ему известны все уловки и обходные пути.

Ягода может причинить на процессе больше вреда, чем Бухарин. Бухарин может возвать к Ленину, чести и большевистским идеям. А вот Ягода знал саму суть дела.

Ягода, конечно, принимал присягу хранить секреты, но это потеряет всякий смысл, когда он будет стоять перед лицом смерти. Он человек не особенно сильного характера.

Кстати, не так уж он умен. Незадолго до ареста он был занят изобретением затейливой униформы для себя и своих подчиненных — золотая лента, маленькие кортики и прочая чепуха. Но дураки тоже опасны: кто знает, что они выкинут в следующую минуту?

А что известно о людях, которые допрашивают Ягоду? Может быть, у них осталось сочувствие к своему бывшему хозяину? Может быть, они спрашивают себя: если такое могло случиться с ним, почему это не может случиться со мной? Хотя это должно лишь заставить их работать с еще большим рвением.

Я позвонил на Лубянку по линии, которой имею право пользоваться я один: «Я допрошу Ягоду завтра в два часа ночи в угловой комнате».

«Да, товарищ Сталин», — ответил дежурный офицер с подъемом в голосе.

По мере приближения назначенного часа я начал нервничать и испытывать безотчетную тревогу. Езды от Кремля до Лубянки пять минут, сейчас зима, конец февраля, на улице никого не будет. Машина бронированная и пуленепробиваемая, я буду надежно защищен. Но автомобиль — не танк. Взрывное устройство достаточной мощности, особенно брошенное сзади, может разнести автомобиль в клочья. Взрывное устройство можно спрятать в люке канализации. Кто-то может рассудить, и рассудить вполне справедливо, что Сталин весьма заинтересован в исходе процесса Двадцати одного. Обвиняемые такой важности наверняка содержатся на Лубянке. Зная характер Сталина, ему может прийти в голову поехать на Лубянку и самому поддать жару. А дорог от Кремля до Лубянки не так уж много.

Если я об этом подумал, почему не может подумать кто-то еще?

Да к тому же убийство вождей — русская традиция. Мы сами убили царя. Одна особа пыталась застрелить Ленина. В огромной России может найтись несколько человек, храбрых, как эта Фанни Каплан.

Логика самосохранения требует, чтобы я сейчас принял меры повышенной предосторожности.

Примерно в полночь я вызываю начальника охраны. «Вызови Хозяина-2 немедленно», — говорю я.

Хозяин-2 входит в мой кабинет через тридцать минут, он выглядит вполне проснувшимся и посвежевшим на морозном воздухе. Во всех прочих отношениях мы похожи с ним как две капли воды, включая форму кончиков усов.

«Все в порядке?» — спрашиваю я.

«Не на что жаловаться», — отвечает он.

Я едва не улыбнулся, услышав его обычный ответ, но подумал: почему лояльные Троцкому кремлевские интриганы не могут разделаться со мной при помощи одного из моих двойников, нужных для появления на публике, а потом прибрать власть в свои руки? Значит, стоящий передо мной человек тоже представляет серьезную потенциальную угрозу. Но по некотором размышлении я счел это маловероятным и все-таки едва заметно улыбнулся.

«Без двадцати два поедешь на Лубянку. Будешь там ждать. Машина вернется за мной. Останешься на Лубянке, пока я не буду готов к отъезду оттуда. Ясно?»

«Ничего нет яснее».

«Как жена, семья?»

«Все здоровы».

Хотя я с ними краток, все-таки я нормально вежлив со своими двойниками. Есть совершенно особый этикет общения с ними. Иногда они настраивают на юмористический лад, но иногда вызывают и вспышку гнева. Но все же есть резон относиться к ним лучше, потому что они помогают мне жить моей жизнью, они могут даже принять на себя мою смерть.

«Позвони мне по прямой линии, как только Хозяин-2 приедет на Лубянку», — приказываю начальнику охраны.

Я решаю выкурить трубку-другую перед отъездом на допрос, а там не курить.

«Хозяин-2 прибыл», — раздается звонок.

«Пришлите машину».

Водитель и телохранитель в хорошем настроении, их радует предстоящая ночная активность: отвезти Сталина на Лубянку лучше, чем гонять чай и болтать языком.

Шел легкий снежок, а может, это просто мела поземка. Когда мы ехали по брусчатке Красной площади, я не мог не бросить взгляд на Василия Блаженного, архитектора которого ослепил Иван Грозный, но на сей раз история, которую я вспоминал, была моя собственная. Именно здесь, у храма Василия Блаженного, несколько лет назад я принял решение и привлек к его исполнению Ягоду.

Стояла темная ночь, московские улицы были пустыньны. Но даже в этот час кое-кто все же мелькал — пьяные, врачи, рабочие с ночной смены. Но я предпочитаю никого не видеть, когда еду на Лубянку.

Подъехали. Распахиваются ворота, охрана отдает честь.

Это абсолютно секретная операция, и знают о ней только шофер, телохранитель, Хозяин-2, офицер, с которым я говорил по телефону, — он встречает меня — и два охранника, которые доставят заключенного для допроса. Все лишнее — только нарушение безопасности.

«Где Хозяин-2?» — спрашиваю я офицера, когда он провожает меня в угловую комнату.

«Один. В своей комнате. Читает».

«Кто-нибудь видел его?»

«Никто».

Угловая комната — среднего размера, нижняя треть голубых стен выкрашена в темно-синий цвет. В комнате только стол и два стула — один перед столом и второй за столом. Позади стола — две подставки, на которых смонтированы сильные лампы с отражателями.

Я сажусь за стол и проверяю кнопку вызова. Вооруженный охранник появляется через две секунды.

Не в том дело, что меня беспокоит Ягода. После того, как человека в течение нескольких недель будят ночью каждые десять минут, он мало на что способен.

Потом мы проверяем свет. Один из двух охранников — специалист по свету. Офицер играет роль Ягоды — идет от двери к стулу, ждет, пока ему не скажут сесть, моргает от ослепительного света.

«Пока я шел от двери, я не видел, кто сидит за столом, и до сих пор не вижу», — говорит он.

«Хорошо, медленно опускайте свет чуть ниже, — говорю я охраннику, а затем обращаюсь к офицеру: — Скажите мне, в какой момент вы увидите мое лицо!»

«Вот сейчас!»

«Хорошо».

«Привести заключенного?»

«Где ведро и швабра?»

«За дверью».

«Ведите заключенного».

Иногда люди, увидев меня, теряют контроль над своими физиологическими функциями, и хотя сознавать это приятно, я, однако, люблю, чтобы все было быстро убрано.

Я слышу, как они идут. Охранник позвякивает связкой ключей, предупреждая других охранников, что ведомого заключенного никто не должен видеть.

У Ягоды слегка осунувшееся лицо, но в остальном он выглядит как обычно: те же челюсти ишейки, те же как будто приклеенные усики; этого я никогда не мог уразуметь: уж если отращиваешь усы, так отращивай.

Я понимал, как болезнен свет для только что разбуженного человека. Он двигался медленно, механически переставляя ноги.

«Можете сесть», — сказал охранник, сопровождавший Ягodu и стоявший у него за спиной.

Второй охранник стоял у контрольного выключателя света.

Глаза Ягоды моргали с отчаянной быстротой. Через некоторое время я легонько дотронулся до рукава охранника, и тот начал медленно убавлять свет. Я едва не расхохотался, увидев изумленное выражение на лице Ягоды, когда он смотрел, как мое лицо выплывает из темноты в сужающемся световом пятне.

«Вы?» — сказал он.

«Я».

«Зачем?»

«Вы не польщены?»

«Это так называется?»

«Почему бы и нет?»

«Я же знаю правила игры. Что мне осталось? Со всем немного».

«Почти ничего».

«Да. И поэтому...»

«Секунду, — говорю я. — Охрана свободна».

Когда охранники вышли, я сказал: «Поэтому — что?»

«Поэтому есть вещи, которые я не хотел бы брать на себя».

«Но ваша репутация уже порушена».

«Тем больше причин не делать ее еще хуже».

«Что может сделать ее хуже?»

«Заявление о том, что я сделал все *это* для Троцкого, тогда как я сделал все *это* для вас».

«И вы хотите заявить, что сделали все это и для Троцкого, и для меня».

«Я знаю, что тут умеют добиваться нужных результатов, — сказал он. — Но я также знаю, что ниточка очень тонка. Нужно время, чтобы привести заключенного в форму после пыток. Вы же не хотите, чтобы я рухнул на скамье подсудимых во время суда».

«Вы мне этим угрожаете?»

«Это единственное, чем я могу угрожать».

«И не пытайтесь».

«Хорошо, но почему я не могу быть предателем по другим причинам?»



«Можете, конечно. Ну, скажем, с вами как с евреем был связан еврейский капитал и платил вам, чтобы вы меня убили. Как вам это?»

«Лучше».

«Лучше? Лучше — кому? Только не российским евреям. Почему они должны страдать и беспокоиться из-за того, что еврейские толстосумы проникли в советские органы безопасности? Как это отразится на их безопасности, когда каждый дурак знает, что страна стоит на пороге войны? Вредить своей стране накануне войны — это худший вид предательства».

Ягода весь обмяк на своем стуле, но тут же выпрямился и сказал: «Послушайте, мы с вами можем забыть всю эту чепуху: мы знаем, что все эти разговоры о троцкистских вредителях перешли разумную грань. Кое-кто есть, конечно, но их можно перестрелять за ночь».

«Троцкий не потому враг, что у него много сторонников. Троцкий потому враг, что он единственный человек на Земле, кто может занять мое место в Кремле, место вождя Советской России. Троцкий останется врагом и тогда, когда вся его организация будет уничтожена и он останется один. Отказ заявить, что вы в прошлом служили Троцкому, означает служить ему в настоящее время. А это еще хуже».

Ягода ушел в себя. С заключенными на допросе такое бывает. Это можно им позволить. В такой момент они приходят к окончательному решению. Иногда за этим следует эмоциональный взрыв, слезы, причитания.

Но и уходить в себя надолго им нельзя позволять. Им нельзя давать время занять устойчивую позицию, они всегда должны быть в подвешенном состоянии. Требуется тонкое искусство, чтобы определить, когда снять чары одним резким словом.

«Ягода!»

«Да?»

«Не спать».

«Я не...»

«Не спать».

«Чего вы от меня хотите, я уже подписал признание».

«Я не успокоюсь, пока не буду уверен, что вы будете правильно вести себя на процессе».

«Беспокойтесь, что я скажу нечто такое, чего не должен говорить? Волнуетесь, что я вскочу на ноги и расскажу про *это*?»

«Нет. Что вы сможете сказать в те несколько секунд, пока публика не перекричит вас, а судья не начнет так громко звенеть в колокольчик, что вас никто не услышит? Поэтому вы не сумеете сделать свое потрясающее разоблачение. А что касается меня, то могу обещать: как сейчас я лично веду допрос, так лично буду руководить и пытками. Не думаю, что вы этого хотите».

«Но я всегда ненавидел Троцкого».

«Так нанесите ему ущерб сейчас».

«Да, — сказал он. — Понимаю».

Понял ли он? Он знал, что надо делать. Человек в его положении должен это знать. Ягода медленно поднял на меня глаза, чтобы я мог в них посмотреть, заглянуть внутрь его. Ему надо было раскрыться, чтобы я мог пройти по полу его души и заглянуть в каждый уголок.

Но люди — лжецы, они могут изобразить все что угодно.

Думаю, однако, что был искренен, потому что в следующий момент его глаза расширились и, еле шевеля губами, он сказал: «Понимаю... Вы дьявол...»

На мгновение он потерял рассудок. Такое тоже бывает.

«Ягода!»

«Да?»

«Вы снова спите».

«Разве?»

«Да, а теперь слушайте меня. Вы выучите свою роль строчка за строчкой. Вы встанете на суде и произнесете выученные строчки, чтобы нанести вред врагу и не причинить большего вреда себе. Вы выучите свою роль и сыграете ее. Повторите!»

«Я выучу свою роль и сыграю ее».

«Так на кого вы работали всегда, денно и ночью?»

«На Троцкого, на Троцкого, только на Троцкого».

«И ни слова про *это*?»

«Ни слова».

Затем возник вопрос, что делать с Хозяином-2. Я мог отправить его в Кремль впереди себя или поехать сначала самому, чтобы его забрали потом. Но было уже три тридцать утра, и я подумал, что не будет никакого вреда, если мы вернемся в Кремль вместе.

Хотя я вовсе не был на сто процентов уверен в Ягоде, я все же был в хорошем настроении. Поэтому, когда я увидел плетущегося по улице пьяного, я не мог отказать себе в развлечении и приказал шоферу притормозить. Машина медленно двигалась рядом с пьяным, и тот, заметив темно-синюю машину, замедлил шаги. Я опустил стекло. Я не могу даже передать выражение на лице пьяного, когда он заглянул внутрь и увидел — двух Сталиных!

«Пить надо меньше», — сказал я, и мы уехали.

**Сегодня, второго марта 1938 года, должен быть хороший день.**

Начался он благоприятно. Процесс над Ягодой, Бухариным и другими обвиняемыми открылся в московском Колонном зале — сплошной мрамор, позолота, торжественность и величие. Хорошо поставлены световые эффекты. Обвинитель Вышинский был ярко освещен в затемненном зале, когда он произносил вступительную речь, и голос его клеймил подсудимых, бросал им одно обвинение за другим. Тут было все — от заговора с целью убийства Ленина до актов промышленного саботажа вроде подсыпания толченого стекла в продукты питания, особенно в сливочное масло.

Я присутствовал. Были предприняты беспрецедентные меры, чтобы скрыть мои появления и уходы, — личный коридор, личная ложа с затемненным цветным стеклом.

Но у меня было полно и других забот. Десятью днями ранее, 20 февраля 1938 года, Гитлер потребовал самоопределения для немцев в Австрии и Чехословакии. Сначала он объявляет себя Верховным главнокомандующим, затем требует самоопределения. До применения силы уже один шаг.

Я напомнил Молотову о нашем пари.

Но процесс был для меня более важен, потому что Троцкий — погиб у него сын или нет — будет пристально следить.

Когда в зале добавили свет, я переключил внимание на обвиняемых, особенно на Бухарина и Ягоду. Бухарин сидел прямо, но без вызова в позе. Настоящий интеллигент, он внимательно слушал. Ягода с бегающими глазами слегка обмяк на стуле. Я не мог понять его состояние. Что это, измождение? Безразличие? Или бережет силы для чего-то еще?

Ребята с Лубянки любят говорить: дайте нам человека, и мы найдем преступление. Мне нравится их оптимизм и готовность работать. Но это более важное дело, чем все прошлые. Тут недостаточно сделать так, чтобы преступление нашло преступника. Тут человек должен подняться и признать преступление.

Виновны ли подзащитные в предъявленных им обвинениях? Ответ отрицательный, диалектически переходящий в положительный.

В некоем высшем и буквальном смысле слова большинство этих людей невиновны в большинстве предъявленных им обвинений. Однако они могут быть виновными во многих других преступлениях, по поводу которых государство решило не устраивать процесса, который в любом случае стоил бы им головы.

Ягода — лучший тому пример. Фармацевт до революции, он организовал на Лубянке лабораторию, известную под названием «камера», где проводил утонченные эксперименты с ядами. Многие люди умерли от этих ядов. Но ради истины скажем, что Максим Горький, патриарх советской литературы, не был одним из них. Скажем, что Горький умер естественной смертью, а Сталин хочет превратить отказ сердечного клапана в политическое убийство.

Ягода перепачкан в крови десятков тысяч людей. Никакое правосудие никогда не оправдало бы эту

гиену. Но если его признание может послужить какой-то высшей цели, вина его будет частично искуплена. Но, разумеется, это тот тип аргументации, который скорее найдет отклик у «теоретика» Бухарина, чем у бывшего главы секретной полиции. С Ягодой надо быть хитрее. Можно обещать сохранить ему жизнь, но он сам множество раз повторял эту ложь. Можно обещать сохранить его любимых, но кого может любить такой человек?

Процесс споткнулся на первом же шагу. Один из второстепенных обвиняемых не признал себя виновным. Заседание было отложено. На следующий день он заявил, что не признал себя виновным по ошибке.

Быть может, этот подсудимый просто разделяет мой диалектический взгляд на вину и на какой-то момент спутал буквальное значение с диалектическим.

Но я остался недоволен.

Я был еще больше недоволен, когда Троцкий обрушился на меня с новыми нападками в «Бюллетене оппозиции», который теперь редактирует Этьенн. Конечно, он не мог помешать Троцкому напечатать это, самое большее, что он мог сделать, — это прислать мне копию текста до сдачи в набор.

Создается впечатление, что я не единственный, кто говорит о себе в третьем лице. Троцкий пишет:

«Троцкому достаточно мигнуть глазом, чтобы ветераны революции стали агентами Гитлера и микадо. По «инструкциям» Троцкого... руководители промышленности, сельского хозяйства и транспорта разрушают производительные силы страны. По приказу «Врага народа № 1», будь то из Норвегии или Мексики, железнодорожники пускают под откос поезд на Дальнем Востоке, а высокоуважаемые врачи травят своих кремлевских пациентов. Такая поразительная картина рисуется на Московских процессах, но тут возникает трудность. При тоталитарном режиме дик-

татуру осуществляет аппарат. Но если мои наймиты занимают ключевые позиции в аппарате, то каким образом получилось, что Сталин в Кремле, а я в ссылке?»

Я прочитал этот бюллетень в то самое утро, когда показания должен был давать Ягода, и был поэтому в плохом настроении, когда пришел в свою ложу.

И показания Ягоды этого настроения отнюдь не улучшили.

Выразив готовность признать, что отравил Горького — чего он не совершал, — он неожиданно заколебался признать убийство Менжинского, своего предшественника, — то есть то, что он действительно совершил.

Ягода. Я не осуществлял умерщвление Менжинского.

Вышинский. Но разве вы не признали это в своих показаниях?

Ягода. Признал, но это была неправда.

Вышинский. Почему вы сделали ложное признание?

Ягода. Позвольте мне не отвечать на этот вопрос.

Вышинский продолжал метать громы и молнии. В тот момент, когда Ягода, похоже, готов был сделать что-то иррациональное, произошел небольшой драматический инцидент.

Среди иностранных гостей, реакция которых была мне небезразлична, находился сэр Фицрой Маклин из английского посольства. В перехваченном нами телеграфном сообщении он следующим образом описал этот инцидент: «В какой-то момент судебного заседания неверно направленный луч света дуговой лампы ясно высветил опущенные усы и желтоватое лицо за темным стеклом одной из лож, откуда хорошо просматривался весь зал, и это не укрылось от глаз внимательной части публики».

Описание довольно точное, хотя усы у меня пока не опущенные, а довольно-таки жесткие. И он неправ относительно дуговой лампы. Замеченная неправильность была намеренной. Смысл был в том, чтобы напомнить Ягоде о вечере на Лубянке и моем обещании. Тот человек, который направлял свет во время допроса, отвечал и за освещение зала суда.

Но даже это вроде бы не сработало.

Ягода сказал, обращаясь к прокурору, но без сомнения адресуясь и ко мне тоже: «Вы можете вынудить меня, но нельзя заходить слишком далеко. Я скажу то, что хочу сказать... но... не заходите слишком далеко».

Ягода разыграл все это правильно, признав достаточное, чтобы не вызвать моего нового вмешательства, но дав себе последний, хотя и тщетный глоток свободы. И с этим я ничего не мог поделать, только сидел и курил одну горькую папиросу за другой.

После показаний Ягоды я уехал в Зубалово, одну из двух дач, где я провожу большую часть времени. Я ужинал поздно, еда не доставила мне удовольствия, а вино не принесло покоя.

Ночью мне приснилось, что я в тюрьме. Это был ужасный сон. Я ходил взад-вперед по камере, напуганный, как затравленная собака. Камера крошечная, на три койки. На одной лицом к стене спал какой-то человек, на другой сидел Ягода в форме, новой, но грязной.

Он все время кричал: «Сталин подсыпал Ленину толченое стекло в масло!»

Затем тот человек на койке повернулся, и я увидел, что это сын Троцкого. Он сказал: «Я был очень молод».



# 15

**Хотя складывается впечатление, что Гитлер в любой момент может вторгнуться в Австрию, я все свое внимание уделяю процессу, по крайней мере когда показания дает Бухарин.**

Хотя он не знал больших секретов, как Ягода, он тоже представлял собой проблему. Он был человеком не того типа, что способен выдержать суровый допрос. Он легко мог сойти с ума. У него артистический темперамент, эмоциональный, порывистый.

Он был всеобщим любимцем. Но за этой привязанностью скрывалось осуждение. Троцкий называл Бухарина «полуистерическим, полуинфантильным и плаксивым». А Ленин, хотя и охарактеризовал Бухарина «самым значительным и самым ценным теоретиком партии», называл его также «мягким воском».

Этот мягкий воск может растаять и превратиться в ничто под жаром пыток. Поэтому в отношении него была выработана стратегия в виде трезубца.

В свои сорок пять лет Бухарин недавно влюбился в молодую красивую женщину, которая родила ему ребенка. Нечего и говорить — как обычно бывает в таких случаях, он полон нежности, радости и волне-

ния. Зубец первый: обещать, что никакого вреда не будет причинено тем, кого он любит.

Зубец второй: обещать, что он не будет казнен, а получит тюремный срок. Чтобы поддерживать в нем эту пустую надежду, следователи применяют к нему метод, который они называют «потеребить сиськи». В тюрьме была устроена встреча Бухарина с одним из осужденных на первом Московском процессе, которому расстрел был заменен десятью годами заключения. Доказать, что сделка есть сделка.

Зубец третий: разрабатывать Бухарина-коммуниста и Бухарина-теоретика, убедить его, что выдвинутые против него обвинения в конечном счете служат идее и делу, которому он посвятил свою жизнь. Для человека его внутреннего склада не оказать эту последнюю услугу общему делу будет равнозначно духовному самоубийству.

Я уже испытывал Бухарина и знаю, что он поведет себя как нужно. Три года назад я отправил его в Западную Европу для приобретения архивов Маркса и Энгельса. Он вполне мог там остаться. Он знал, с каким риском связано возвращение. Он сам об этом говорил: «Мы все стремимся в его пасть, отлично зная, что он нас сожрет».

Возвращение в Россию было его первой ошибкой. Почему он так поступил? Он мог спокойно жить вне Советской России. Однако одно дело — быть марксистом-эмигрантом до революции, и совсем другое — после. Троцкий сумел наладить свою жизнь, потому что в нем есть внутренняя сила и чувство собственной значимости, но у Бухарина этих качеств нет.

Поэтому, даже зная, что риск необычайно велик, Бухарин вернулся, и это означало, что на глубоком базисном уровне он сохранил большевистскую лояльность.

Но, рассуждая диалектически, возвращение Бухарина в сталинскую Россию было и откровенным

предательством по отношению к сталинской России. Бухарин вернулся не потому, что был верен сталинской России, он был верен своим большевистским ценностям, которые по природе своей направлены против Сталина. Большевики бухаринского типа никогда не могли сработаться со Сталиным. И Сталин тоже никогда не мог сработаться с ними. Эти большевики могли совершить революцию, но не могли сохранить ее завоевания.

Так или иначе, Бухарин — последний из ленинской команды, последний из старых большевиков. В последние месяцы исчезло так много из старой гвардии, что появился даже анекдот.

Стук в дверь.

— Кто там?

— НКВД.

— Коммунисты живут этажом выше.

Но на самом деле первой ошибкой Бухарина было не возвращение в Россию, а то, что он сказал обо мне, находясь в Европе: «Сталин несчастлив оттого, что ему не удалось убедить всех, и себя в том числе, что он самый великий, и это его разочарование и есть его самая человеческая черта, фактически его единственная человеческая черта; но вовсе не человеческой, а дьявольской является та черта его характера, что возникла как следствие его несчастливой жизни: он не может не мстить людям, всем людям, и особенно тем, кто выше его или в чем-то его превосходят. Если кто-то говорит лучше, чем он, то этот человек обречен! Сталин не даст ему жить, поскольку такой человек служит постоянным напоминанием о том, что Сталин не самый великий. Если кто-то пишет лучше, чем он, он конченный человек, потому что только Сталин, только он имеет право быть первым русским писателем».

Это мог сказать Троцкий! Это принижение моих литературных способностей служит еще одним свя-

зующим звеном между Бухариным и Троцким. Интеллектуалы, они не могут избавиться от мысли, что превосходят меня. Но для них нестерпимо, когда я поступаю по отношению к ним как человек, стоящий выше их. Это для них совершенно непереносимо.

И хотя возвращение Бухарина в Советскую Россию было для меня почти несомненным — он не более способен жить вне России, чем полярный медведь в пустыне, — на какой все же риск я шел! Находясь за границей, Бухарин мог связаться с Троцким, они вместе могли бы стать для меня сильнейшими оппонентами. Но если я не понимал Бухарина — значит, я не понимал никого.

Итак, он вернулся. Чтобы вознаградить его и использовать его способности теоретика, я сделал его главным архитектором Сталинской конституции 1936 года.

Он вернулся и сидит теперь на скамье подсудимых, он неплохо выглядит, все те же темно-каштановые волосы, борода, карие глаза, слегка похожие на ленинские, но только нет в них той жизненной твердости.

Бухарин занимается казуистикой, оспаривает каждый пункт, отвечая на обвинение в отношении переговоров Троцкого с Гитлером об уступке ему Советской Украины.

Вышинский. Вы одобрили эти переговоры?

Бухарин. Не дезавуировал, следовательно, одобрил.

Вышинский. Я спрашиваю, вы их одобрили или нет?

Бухарин. Я повторяю, гражданин прокурор: поскольку не дезавуировал, следовательно, одобрил.

Вышинский. Следовательно, вы их одобрили?

Бухарин. Если я их не дезавуировал, следовательно, я их одобрил.

Вышинский. Но вы сказали, что узнали об этих переговорах постфактум.

Бухарин. Да, одно другому нисколько не противоречит.

Хоть стой, хоть падай.

И еще, Бухарин отказывается принять ответственность за попытку убить Ленина, он пытается выкрутиться всяческими тонкостями или комплиментами:

«Мы поднялись против радости новой жизни, используя крайне криминальные методы. Я отвергаю обвинение в попытке убийства Ленина, но я руководил бандой контрреволюционных приспешников, которые пытались уничтожить дело Ленина, с таким грандиозным успехом претворяемое товарищем Сталиным».

Оставаясь верным себе, как большевистский теоретик, Бухарин в конце, несмотря на все иронизирование и оговорки, сказал все же то, что должен был сказать: «Я признаю себя виновным в том, что был руководителем, а не стрелочником контрреволюционного дела. Из этого вытекает, как это всякому понятно, что многих конкретных вещей я мог и не знать... но ответственности моей это не снимает».

Для простого человека с улицы это слишком витиевато, он хочет знать только одно: признался Бухарин или нет?

После этих последних слов Бухарин сел, покрасневший, беззащитный. Слишком он нежен для всего этого, не следовало ему возвращаться. Он забыл великие строки Есенина: «Грубым дается радость, нежным дана печаль».

Бухарин неправ, называя несчастье моей единственной человеческой чертой. Я счастливый человек.

Я счастлив, когда сижу один со стаканом вина сейчас, — процесс закончился, обвиняемые признались и расстреляны. Я счастлив оттого, что все

троцкисты в лагерях — некоторым из них хватило духу организовывать забастовки, требуя более короткого рабочего дня, — расстреливаются по мере того, сколько позволяют наши человеческие ресурсы. Я счастлив, что избавился от всех врагов в СССР.

И еще я счастлив, что, хотя на это потребуется какое-то время и кое-какие усилия, убийству Троцкого теперь ничто не может помешать, кроме непредвиденной случайности или его естественной смерти. И поэтому здесь и сейчас я пью за ваше здоровье, Лев Давидович!

**ЧАСТЬ**

**III**

# 16

**Кому-нибудь, не обладающему опытом и тонкостью суждений, осень 1938 года могла бы показаться самым подходящим временем для ликвидации Троцкого.**

Московские процессы завершены. Ягода, Бухарин и другие сообщники Троцкого осуждены судом и убиты выстрелом в голову. Но я не могу сделать это прямо сейчас по трем причинам — одна из них международная, одна внутренняя и одна личная.

Международная обстановка дьявольски осложнилась. В марте 1938 года Гитлер захватил Австрию, и я получил десять рублей от Молотова. В августе Гитлер призвал миллион резервистов, в октябре отторг у Чехословакии Судеты.

Я смотрю на Запад и, ей-богу, не могу понять, что там происходит. Английский премьер Чемберлен наносит визит Гитлеру, отдает Судеты взамен «мира в наше время», а затем едет домой пить чай. Американский летчик-герой Чарльз Линдберг получает в Берлине лично от Гитлера немецкий Железный крест. Французы и немцы обсуждают Пакт дружбы. Единственное, что я знаю: любая сделка возможна хотя бы потому, что каждая страна преследует собственные интересы. Америка примет нашу сторону, если



это послужит ее интересам, а если нашу, то почему не Гитлера?

Американская пресса полнится пропагандой и против Гитлера и против меня. Но в последнее время американские газеты стали писать о нас в более благоприятных тонах, особенно после того, как мы приняли новую конституцию и начали сворачивать террор. Западные газеты принадлежат богатым людям — никогда не слышал, чтобы газетой владел бедняк. Богатые люди поддержат политику своей страны и прикажут своим газетам писать о нас хорошо, если это будет им нужно. Если Гитлер станет их врагом, я стану врагом их врага.

Но если вдруг Троцкого убьют в Мексике, разразится страшный скандал. Такую историю не замнешь. Пробраться в независимую страну и организовать убийство столь заметной личности, как Троцкий, — значит вызвать к жизни совсем не те заголовки.

На какое-то время, пока ситуация не прояснится, живой Троцкий служит внешнеполитическим интересам Советской России.

Далее, внутренняя причина. Террор ослабевает, но сделать нужно еще очень много. Но не это главное. Главное в том, что на НКВД нужно возложить вину за эксцессы тайной полиции. Это значит, что нынешняя команда должна уйти. А это значит, что я должен создать свою собственную тайную организацию внутри тайной организации, чтобы в нужный момент они сделали то, что мне нужно, и заняли место, которое окажется вакантным.

По этой причине я в июле назначил новым заместителем наркома Лаврентия Берию. Есть некоторые преимущества в том, что я смогу говорить с ним по-грузински: ни один русский не удосужился выучить наш язык, даже революционеры, которые принципиально выступали против царской политики искоренения грузинского языка и принуждения всех нас

говорить по-русски, что оказалось для меня лично неслыханным благом.

Берия хорошо подготовлен для этой работы и благодаря квалификации, и внешности, и порокам.

Что можно сказать о квалификации? Некоторые охотники приносят домой больше дичи, чем другие. А Берия приносит много.

Он создал эффективную службу безопасности в Грузии, он умеет поощрять своих людей, завоевывать их преданность и восхищение — одним словом, он показал себя настоящим руководителем. Это и хорошо и плохо. Хорошо потому, что секретные органы должны чувствовать, что у них умный, способный, заботливый руководитель, — иначе эта важнейшая организация слишком долго будет оправляться от чистки, которая на нее обрушится. И плохо потому, что люди, способные быть руководителями, уже, по определению, потенциальные соперники.

Мастер дубинки, Берия одновременно может быть назван дипломатом в том, что касается человеческих взаимоотношений. Он заботился о моей матери, пока она была жива, и вместо меня был на похоронах, когда она умерла. Мои дети привязались к Берии, когда ездили в Грузию навестить свою бабушку. И я помню, что когда я сам поехал в Грузию на восьмидесятилетие матери, она всегда говорила о нем как о «нашем Лаврентии».

«Наш Лаврентий» умеет также мне льстить. Он добился, чтобы ни одна грузинская газета не выходила без фотографии «Великого Сталина», или цитаты из «Великого Сталина», или восхваления «Великого Сталина». Берия заказал книгу под названием «К истории большевистских организаций в Закавказье», высветив центральную роль «Великого Сталина», и поставил себя в качестве ее автора (уничтожив впоследствии «негров»). Он председательствовал также на открытии монумента: двухкомнатная кирпичная

лачуга, где я вырос, была заключена внутрь громадного величественного сооружения, похожего на греческий храм с четырьмя классическими колоннами, что, как сказал Берия, подчеркивает мое скромное рабочее происхождение и захватывающие дух достижения «Великого Сталина».

Заграничные обозреватели, и Троцкий в том числе, заявляют, что у Сталина волчий аппетит на лесть и восхваления. Они говорят, что мои изображения высечены в горах, их носят в медальонах вдовы и так далее. Некоторые из них анализируют этот факт в терминах психологии, временами делая ссылки на Фрейда, работы которого я прочитал и запретил: они просто не имеют никакого отношения к реальной жизни, которую мы знаем, хотя некоторые его мысли, скажем — о смерти, похоже, применимы кое к кому.

Я всего лишь человек и должен признаться, что мое имя, исторгаемое с диким восторгом из миллиона глоток, доставляет мне приятное чувство. Но, как и ко всему прочему, к этому привыкаешь.

Мои критики ошибаются, полагая, что у меня неестественная жажда восхвалений. Все восторги, вся лесть служат, однако, двум другим целям, гораздо более важным, чем восхваление моей личности. Первая и важнейшая состоит в том, что поклонение — это знак, символ и мера власти. Если ваше лицо и ваши дела укоренились в делах и мыслях людей, если они чувствуют себя более сильными, отождествляя свою волю с вашей, то ваша власть проникает так далеко внутрь, как это только возможно, во все нервные окончания. Во-вторых, лесть — это код, открывающий намерения и выражающий преданность. Берия — лучший тому пример. Его льстивый стиль сигнализирует о его готовности служить и подчиняться. Тут больше от Дарвина и Павлова, чем от Фрейда.

Что касается внешности, то Берия похож на профессора — с редяющими черными волосами, высоким лбом и совиными глазами; к тому же он носит пенсне. Он читает на нескольких языках, у него хороший вкус, у него культурный дом с очаровательной красавицей женой и хорошо воспитанными детьми. Какой контраст с нынешним главой НКВД Ежовым — низким грубым человеком, которого все ненавидят и называют за спиной «кровавым карликом». Именно на Ежова нужно возложить всю вину за эксцессы Террора. А есть ли лучший символ того, что страшное позади, чем человек с хорошими манерами и в пенсне?

Пороки Берии тоже вполне подходящие. Он любит ездить по Москве в машине с темными стеклами, сквозь которые он высматривает привлекательных школьниц. Шофер приглашает их в машину, а Берия насилует. Чем сильнее их ужас, тем сильнее его удовольствие.

Лично я это не одобряю. Время от времени по чистой случайности Берии попадается дочь какого-нибудь влиятельного человека, и возникает небольшой скандал. Что плохо для престижа народного комиссариата, поблекшее сияние которого он должен восстановить. Но по мне, это малая цена: то, что доставляет ему удовольствие, всегда потом может быть использовано против него. Кроме всего прочего, я недолюбливаю слишком чистеньких.

Я ненавижу зато запах одеколона, которым он пользуется, — приторный, простецкий запах, как от цветов на похоронах.

Так что террор не столько закончился, сколько пылает теперь в рядах самой тайной полиции и по этой причине остается в основном невидимым.

С точки зрения человеческих ресурсов это означает, что мои лучшие и самые доверенные люди сейчас слишком заняты, чтобы заниматься Троцким.

Конечно, мы не спускали глаз с Троцкого с того момента, когда он ступил на борт парохода в Одессе и отплыл из Советской России в 1929 году. Сейчас несколько оперативных работников наблюдают за Троцким и его домом в Койоконе, пригороде Мехико.

Уборщица снабдила нас более подробным планом дома, чем тот, который мы получили в комиссии местного муниципалитета. Она сообщила массу ценных подробностей — какие коридоры заставлены коробками и чемоданами, способными затруднить приход помощи, когда ее вызовут. К тому же в нашем распоряжении много фотографий внешнего вида дома, а также прилегающих домов и улиц. У нас есть хорошие карты района. Имеются также сообщения прессы и фотографии из газет: Троцкий в белом костюме пьет чай или в синей французской крестьянской блузе кормит кроликов специальной смесью, которую он сам изобрел «на научной основе».

Предприняты попытки побольше узнать о телохранителях Троцкого, их происхождении, политических убеждениях, личных слабостях.

И разумеется, мы по-прежнему читаем переписку Троцкого с Этьенном.

Досье растет не по дням, а по часам.

Троцкий, кажется мне, находится не так уж далеко. Я могу нарисовать его дом, коридор, кабинет, в котором он работает. Я узнаю лица охранников, когда мне приносят новые фотографии. Даже кролики уже выглядят как старые знакомые.

Третья и последняя причина не уничтожать Троцкого немедленно — более субъективная и личная по характеру. Фактически сам Троцкий нашел свидетельства о ней. Он пишет, что в разговоре с Каменевым и Дзержинским Сталин «признался за бутылкой вина как-то вечером на балконе летней дачи, что высшее наслаждение ему доставляет выследить

врага, подготовить все тщательно, безжалостно отомстить за обиду и потом лечь спать». Я помню, как шокировало это Дзержинского, основателя нашей тайной полиции, способного выпустить весь магазин маузера в голову любого подозреваемого в контрреволюционных действиях. Они все были такие — все оправданно, если служит революции, — но боже упаси радоваться этому, боже упаси получать от этого удовольствие. Поэтому если наступит такая ночь, когда я лягу спать, зная, что проснусь на следующий день в мире, где больше нет Льва Троцкого, то вряд ли меня можно будет винить за то, что я тщательно выбираю момент и это доставляет мне «высшее удовлетворение».

Но если я получу основания полагать, что Троцкий готов выступить с документальными свидетельствами об *этом*, то к черту тогда международное положение, к черту внутреннюю ситуацию, к черту сталинские удовольствия.

**Очевидно, суд над Ягодой и Бухариным не подкинул Троцкому никаких «идей».**

Но идеи — вещь своеобразная. Они могут прийти и через одно мгновение, и годом позже, когда их меньше всего ждешь — когда выходишь из машины или справляешь малую нужду. По всей логике, если у Троцкого возникнут некие произвольные ассоциации, его первым шагом будет сбор доказательств, свидетельств, документов. Но вся его последняя переписка с Этьенном в Париже сводилась к просьбам найти дополнительные материалы, связанные с далеким прошлым, моим первым арестом, допросами, ссылкой.

Отказавшись сотрудничать с моим следователем капитаном Антоновым, я перед отправкой в сибирскую ссылку был переведен в кутаисскую тюрьму. Это был период интенсивных занятий. Я немножко учил эсперанто, «язык надежды». Часами пытался овладеть немецким, потому что считалось необходимым прочитать «Капитал» в подлиннике, если хочешь, чтобы тебя считали чем-то большим, чем просто «практиком». Но пока я отыскивал в словаре очередной богом проклятый глагол, я забывал, о чем была фраза.

Но кутаисская тюрьма тоже была великим «университетом» в горьковском смысле слова, она давала уроки о людях и о жизни.

Однажды вечером распространился слух, что на следующий день состоится казнь, повешение. Задолго до восхода солнца вся тюрьма была на ногах еще до этого и, если не считать неизбежного в тюрьме металлического клацанья дверей, стояла полная тишина. Совсем особая тишина, не похожая на ночную, когда все спят. То была напряженная тишина, пронизанная ожиданием мученичества.

Впервые в жизни я слышал, как ведут человека на казнь. Когда тишина стала невыносимой, осужденный закричал. Не ужас в его голосе потряс меня. Это был крик одиночества.

Я получил административный приговор — это значит, что его вынес не суд, а полиция, — три года ссылки в сибирском поселке Новая Уда. Но русские власти любили тянуть время. С момента моего ареста в апреле 1902 года до посадки на сибирский поезд в конце 1903 года прошел двадцать один месяц.

Три года — обычный приговор. Единственное отличие — место ссылки, одно из лучших мест в Сибири, и вовсе не за Полярным кругом. Может быть, капитан Антонов сделал мне небольшую поблажку, чтобы было чем его вспомнить.

Пересылка в Сибирь осуществлялась «по этапам», как говорили в те дни. Это значило, что вас доставляют поездом в какой-то город, там ждешь день, неделю, месяц, пока не прибудет еще одна партия ссыльных, и только тогда формируется полный контингент. Доставив на конечную станцию по железной дороге, вас на санях, запряженных лошадьми, отправляют до нужной деревни и селят в избе с несколькими другими ссыльными. Раз в месяц надо отмечаться в полиции, в остальном вы предоставлены самому себе — можете охотиться, даже с ружьем,



ставить капканы и ловить рыбу, дабы пополнить скудный рацион, который вам положен.

Бежать из тюрьмы практически невозможно. Можно было сбежать с поезда, но это значило напроситься на пулю в спину, если охрана на крышах вагонов заметит вас на фоне белого снега. А вот бежать из Сибири было довольно легко. Даже Троцкий писал: «К началу 1904 года ссылка успела окончательно превратиться в решето. Бежать было в большинстве случаев не трудно: во всех губерниях существовали свои тайные «центры», фальшивые паспорта, деньги, адреса».

Я никогда не был нигде, кроме грузинских гор и портовых городов на Черном море. Я никогда не видел великий русский Север. К нему надо было привыкнуть. Но мне понравилась Сибирь, ее необъятность, ее суровость.

Я решил не терять ни минуты. После двух лет в тюрьме меня так и тянуло к активным действиям. Но я ничего не предпринял, пока не отметился в полиции, получив таким образом фору в тридцать дней. Но толстые, сонные люди в форме не были настоящей властью — Сибирь сама себе была лучшим стражем.

На середине двадцатикилометровой дороги к тайнику, где можно было найти документы и средства на проезд, откуда ни возьмись началась пурга, дороги, и без того едва заметную по следу саней, совсем замело.

Миллионы снежинок в воздухе, жалящих, как крупинцы соли. Гудению ветра подвывали волки. Сапоги скрипели на снегу, как будто зная, куда меня вести. Было лишь общее смутное ощущение направления, да и оно мало чем могло помочь в пургу. Какая-то сила вела меня вперед. Может быть, то был зов истории. Как раз в это время, в начале 1904 года, глупый царь Николай решил напасть на Японию, надеясь проучить «желтых обезьян» и завоевать себе славу и престиж в «короткой, победоносной вой-

не», как тогда говорили. Но именно желтые обезьяны, которые за полстолетия прошли путь от самурайских мечей до дредноутов, преподали нам урок. Урок заключался в том, что Россия, при всей видимости своей мощи, была колоссом на глиняных ногах. Урок не прошел незамеченным для рабочих и революционеров, они начали забастовки и убийства как никогда прежде.

Но может быть, меня вела сила любви, потому что сразу же по возвращении из Сибири я нашел свою «судьбу», как говорят русские.

У меня был один счастливый брак — ровно на один больше, чем выпадает большинству людей.

Звали ее Екатерина Сванидзе.

Меня познакомил с ней ее брат Александр, который учился вместе со мной в семинарии и тоже стал революционером. Но в ней не было и намек на бунт. Ее характер и инстинкт состояли в том, чтобы подчиняться и боготворить. Я понял это в ту же секунду, когда увидел ее.

Я увидел это в линиях ее тела, когда она повернулась к плите с чайником в руке. Кухня была едва освещена, но фигура ее четко обрисовывалась в белом зимнем свете, проникавшем через окно. Я увидел это в линии ее опущенных плеч, в том, как она двигалась, как будто прося у кого-то прощения.

Потом я увидел это в ее глазах, когда зашел на кухню за чайником, а ее брат сказал, что должен ненадолго выйти. Ее темно-карие глаза, глубоко посаженные в тени глазниц, и секунды не могли выдержать моего взгляда.

Тем, как я стоял и ждал, я, не сказав ни слова, дал ей понять, что хочу, чтобы она посмотрела мне в глаза, и через секунду-другую она взглянула на меня — ясным, бесхитростным взором, в котором читался смертельный испуг.

У нее были нежные, пухлые губы. Открытое овальное лицо, полный изумления вид.

Она выдержала мой взгляд лишь несколько секунд и отвернулась к раковине; я заметил, что она при этом едва заметно перекрестилась.

Мне нравилось смотреть на нее сзади, и мне нравилось, что она чувствует, что я на нее смотрю. Несмотря на то что на ней была просторная домашняя одежда, я знал, что обнаженная она будет хороша в постели, сгорающая от стыда и тщетно пытающаяся прикрыть себя руками.

В этот момент вернулся ее брат, бросив удивленно и возмущенно: «Где же чай для нашего гостя?»

Называя меня моей подпольной кличкой, Троцкий пишет:

«Не без изумления мы узнаем... что у Кобы, который сам уже в 13 лет отвернулся от религии, была наивно и глубоко верующая жена. Это обстоятельство может показаться заурядным в устойчивой буржуазной среде, где муж считает себя агностиком или развлекается франкмасонским ритуалом... В среде русских революционеров эти вопросы стояли неизмеримо острее. Не анемичный агностицизм, а воинствующий атеизм составлял необходимый элемент их революционной философии. И где им было взять личной терпимости к религии, неразрывно связанной со всем тем, против чего они боролись среди постоянных опасностей?»

Троцкий хочет сказать, что тенденция к «предательству» революции проявилась рано, даже в выборе жены.

Он прав. Я женился не по идеологическим соображениям. Я женился на Екатерине Сванидзе, потому что полюбил ее. Я полюбил ее потому, что она была создана для меня.

Как и Бухарину, Троцкому ненавистна сама мысль, что я могу быть счастлив — это высшая несправедливость. Но я был счастлив. Троцкий цитирует моего друга

того времени, который писал обо мне: «Брак был счастливым потому, что его жена... глядела на него как на полубога, и потому, что она, как грузинка, выросла в священной традиции, обязывающей женщину служить». И добавляет, что, когда я уезжал по партийным делам или сидел в тюрьме, она проводила «неисчислимыe ночи в горячих молитвах».

Но не только когда меня не было.

«Молись», — говорил я ей, и она смотрела на меня своими покорными глазами.

«Молись!»

Она опускалась на колени.

«Молись вслух».

Опустив голову, закрыв глаза, она начинала истово шептать Богу, прося его помощи.

«Молись всем сердцем, молись о том, чего ты хочешь прямо сейчас».

«О Иисусе, пусть муж мой пойдет по праведному пути и не поддастся искушению...»

Затем очень нежно я подставлял колено под ее подбородок и очень осторожно поднимал ей голову, что, как она знала, было сигналом открыть глаза и посмотреть мне в глаза. Голос ее обрывался, дыхание становилось прерывистым. Мои глаза смотрели сверху в ее глаза. Мягкие пухлые губы продолжали шевелиться, но молитва уходила внутрь ее существа.

«Вслух, молись вслух».

«О Боже, пусть муж мой снимает ремень только по той причине, что он хочет наказать меня за мои прегрешения...»

Иногда Бог откликался на ее молитвы, но лишь на первую их половину.

Ничего не было чудеснее, чем взять ее за густые пышные волосы и, по-прежнему глядя ей в глаза, медленно прижаться к ее губам, пока имя Божие не превратится всего лишь в прерывистое рыдание в ее груди.

**Троцкий становится проницательней.**

Он сообразил, что провалы в моей биографии могут рассказать ему больше, чем факты, которые она сообщает. Он уже обнаружил, что документы фиксируют мою очень малую активность во время революции 1905 года. Сталин, Сталин, где Сталин? В материале, который я получил сегодня утром, Троцкий пишет: «Но все же остается в силе вопрос: что, собственно, делал Коба в 1905 году?»

Троцкий прав, когда говорит, что я не любил революционную сумятицу, а 1905 год и в самом деле был суматошным, и каждый месяц добавлял в нее очередную порцию.

*Январь.* Санкт-Петербург. В воскресенье отец Гапон привел к Зимнему дворцу мирную демонстрацию, чтобы вручить царю петицию рабочих об улучшении условий их жизни. Они поют, молятся, несут иконы. Царя во дворце нет, войска открывают огонь. Десятки убитых. Слова «Кровавое воскресенье» разлетаются по России всего за несколько дней с невероятной скоростью, как умеют распространяться слухи.

Тогда никто не знал, что отец Гапон сотрудничал с царской охранкой, но не для того, чтобы подорвать революционное движение, а чтобы прибрать

его к рукам. Служившие в охранке реалисты отдавали себе отчет в том, что революция представляет внушительную силу и контролировать ее выгоднее, чем подавлять. Точнее, подавлять там, где это возможно и прибирать к рукам, где невозможно. Строго говоря, Гапон не был настоящим предателем, но это не спасло его несколькими годами позднее от революционной расстрельной команды. Я не имел никакого отношения ни к демонстрации, ни к последующей казни монаха.

*Февраль.* Убит Великий князь Сергей, генерал-губернатор Москвы, ярый реакционер. Снова никакого моего участия.

Режим разыгрывает новую карту, Черную сотню. Неправительственная, чисто «патриотическая организация» — но с щедрым правительственным финансированием и легальной поддержкой, — Черная сотня состояла из диких пьяных антисемитов и ксенофобов. Сначала они принялись грабить, насиловать и убивать армян в Баку, затем, естественно, Черная сотня обратилась против своего истинного врага, евреев. Их лозунг, выразительный своей сжатостью, звучал: «Бей жидов, спасай Россию».

*Март.* Крестьянский бунт, начавшийся с того, что практиковалось столетиями и получило название «пустить красного петуха», — с поджогов помещичьих усадеб, желательно вместе с хозяевами. Все это носило стихийный характер, ни я, ни большевики не подстрекали крестьян к таким действиям.

*Апрель.* Ленин доминирует на Третьем съезде социал-демократической партии. Хотя умы наши встретились, когда я сидел в тюрьме, я пока еще не осуществил свою мечту познакомиться с этим человеком лично.

*Май.* Японцы потопили русский флот в Цусимском проливе между Японией и Кореей. Это всколыхнуло народ.

*Июнь.* Первые Советы сформированы в Санкт-Петербурге. Эти Советы революционных рабочих и солдат являются становым хребтом восстания.

Мятеж на броненосце «Потемкин». И снова стихийный.

*Июль.* Советы распространяются по стране. На некоторых фабриках и в полках они стали руководящей силой, но не там, где находился я, в Грузии.

*Август.* Глупый царь Николай идет на уступки — он предлагает созвать чисто совещательный парламент, среди делегатов которого будет немного крестьян и совсем не будет рабочих. Взрыв возмущения. Тем не менее это признак слабости режима.

*Сентябрь.* Николай выглядит еще более слабым в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир, где американский президент Теодор Рузвельт выступает посредником мира, унижительного для России: 400 000 погибших, полтора миллиарда растраниженных золотых рублей, флот на дне морском, большие территориальные уступки Японии.

*Октябрь.* К концу этого месяца все железные дороги России охвачены забастовкой, в том числе в Грузии. Там я играю свою обычную роль. Всеобщая забастовка в Москве, весь город вышел на улицы.

*Ноябрь.* К этому времени Советы чувствуют себя настолько уверенно, что объявляют введение восьмичасового рабочего дня. Власть близка, ее можно брать. Нужно только вооруженное восстание. Ленин возвращается в Россию.

*Декабрь.* Вооруженное восстание. От одного конца России до другого, от Петербурга до Владивостока. Солдаты переходят на нашу сторону, теперь оружие обращено против оружия. Наконец-то убивает и наша сторона.

*Конец декабря.* Вспыхивают отдельные сражения, Ленин созывает чрезвычайную конференцию своей большевистской фракции в Таммерфорсе, в Фин-

ляндии. Как человек, доказавший свою приверженность большевикам на нефтяных предприятиях Батума и железнодорожных депо Тифлиса, я приглашен в качестве делегата в числе сорока одного представителя, это большая честь.

Троцкий, конечно, стал ни больше ни меньше как лидером петербургского Совета, тогда как все источники указывают, что я в великом пятом году устроил несколько забастовок, написал пару брошюр, организовал политические похороны, не получившие большого резонанса, а также недолгое время отдал редактированию «Кавказского рабочего листка». Документы умалчивают об унылой повседневной работе в комитетах и подкомитетах, завоевании друзей и союзников, что с лихвой окупится в будущем. Я был учеником, стремящимся освоить рычаги и педали партийной машины. И это окупилось. Меня заметил Ленин.

Лично меня завораживала гидродинамика власти — как власть перетекает и сдвигается: достаточно иной раз человеку задуматься в поисках нужного слова, как теряется импульс, который подхватывает кто-то другой. А русские революционеры были большие спорщики. Они спорили по любому поводу. Каждый гордился своим мнением и был готов за него сражаться. Каждый — маленький диктатор, стремящийся навязать свою волю силой страсти и подавляющей логики. Все это делало их отчаянными говорунами. Но я таким не был. Я умел ждать. Когда все наговорятся и мне станет ясным расклад сил, выступаю я со своей умеренной точкой зрения, которая привлекает людей обеих спорящих сторон. Меня не рассматривали в качестве лидера, я был катализатором, примиряющей силой, что служило отличным прикрытием для попытки контролировать какой-нибудь комитет. Я не стремился производить сильное впечатление. Как правильно отме-



тил Троцкий обо мне в то время: «Никто не заметил его отсутствия, и никто не обратил внимания на его возвращение».

Но я не собирался встретиться с Лениным и при этом остаться незамеченным. На севере России и в Финляндии было ужасно холодно. Мое короткое пребывание в Сибири оказалось недостаточным; я пока не привык к русскому холоду. Не в том дело, что это имело для меня какое-то значение. Единственное, о чем я думал, — я, делегат от Грузии, передвигающийся под вымышленным именем Иванович, скоро буду в одной комнате с моим кумиром.

Несколько недель назад Этьенн информировал меня о том, что Троцкий затребовал оригинал статьи о моих первых впечатлениях о Ленине. Я достал том моих избранных работ и сам перечитал эту статью:

«Я надеялся увидеть горного орла нашей партии, великого человека, великого не только политически, но, если угодно, и физически, ибо тов. Ленин рисовался в моем воображении в виде великана, статного и представительного. Каково же было мое разочарование, когда я увидел самого обыкновенного человека, ниже среднего роста, ничем, буквально ничем не отличавшегося от обыкновенных смертных...

Понятно, что «великий человек» обычно должен запаздывать на собрание с тем, чтобы члены собрания с замиранием сердца ждали его появления, причем перед появлением великого человека члены собрания предупреждают: «Тсс... тише... он идет». Эта обрядность казалась мне не лишней, ибо она импонирует, внушает уважение. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что Ленин явился на собрание раньше делегатов и, забившись где-то в углу, попросту ведет беседу, самую обыкновенную беседу с самыми обыкновенными делегатами кон-

ференции. Не скрою, что это показалось мне тогда некоторым нарушением некоторых необходимых правил».

Мне кажется поразительным, что до сих пор Троцкий не процитировал ни единой строчки из этих первых впечатлений, хотя бы для того, чтобы обрушиться на мой неуклюжий стиль, как это он обычно делает. Но как может быть, что первые впечатления Сталина о Ленине не интересны Троцкому? Если бы мы поменялись местами, я прочесал бы такой материал в поисках ключа к характеру, амбициям, намерениям.

Но Троцкий фиксирует внимание на другом — на моем столкновении с Лениным по аграрному вопросу, о том, кто получит землю. Троцкий пишет: «Не может, прежде всего, не вызвать удивления самый факт, что молодой кавказец, совершенно не знавший России, решился столь непримиримо выступить против вождя своей фракции по аграрному вопросу, в области которого авторитет Ленина считался особенно незыблемым».

«Делегату следует представиться», — сказал Ленин. Ростом вряд ли больше 160 сантиметров, он держался так уверенно, что я чувствовал себя ниже его. Как говорят венгры, его лоб достигал его зада, но лысина его казалась динамичной, а не патетичной — как будто интенсивная мысль согнала волосы ему с черепа. Костюм-тройка, адвокатская привычка засовывать большие пальцы за жилетку.

«Иванович, — сказал я, по привычке назвавшись моим тогдашним псевдонимом, а затем добавил: — Джугашвили».

«Делегат от Грузии?», — спросил он.

«Да».

«Верна ли моя информация, что многие грузинские революционеры учились в семинариях?»

«Верна».

«Вы один из них, делегат Иванович?»

«Да».

«Тогда я напомню вам то, чему вас, должно быть, там учили: мы все грешны, но худший грех — упорствовать в своей ошибке».

Мы с Лениным засмеялись над головами других делегатов, которым понравилась эта реплика. Затем без запинки Ленин разразился очередной тирадой, которая доказывала, что его позиция по аграрному вопросу является для большевиков единственно правильной, а большевики тогда составляли, конечно, лишь фракцию и партией не были.

Моя собственная позиция по аграрному вопросу состояла в том, что земля должна быть отдана крестьянам, а не национализирована, но я не думаю, что это было для меня так уж важно в то время. Я хотел схватиться с Лениным, но по вопросу, который ни в коем случае не был центральным и который легко было урегулировать позднее. Почему мне хотелось схватиться с Лениным? Конечно, испробовать на себе его силу, но, быть может, я безотчетно следовал старому грузинскому обычаю: когда князь входит в дом, он хлопает ребенка по лицу, чтобы ребенок никогда не забывал этот день. Но кто тут ребенок и кто кого хлопнул по лицу? Может быть, это относилось к нам обоим.

Другое мое общение с Лениным было менее формальным. Между заседаниями делегатов учили стрелять из маузера, браунинга и винчестера. Мы шумели и стреляли. Как только конференция закончилась, мы отправились на баррикады, спеша присоединиться к нашим братьям и сестрам в Москве, где, по последним сообщениям, дела шли не лучшим образом.

Я стрелял из маузера на импровизированном стрельбище, где мишенями нам служили бутылки из-под пива с красными этикетками, их выстраивали на покосившемся заборе в снегу. Когда я передал ору-

жие товарищу, дожидавшемуся своей очереди, я увидел Ленина, стоявшего неподалеку и оценивающе смотревшего на меня своими косящими веселыми и одновременно настороженными глазами, в которые нелегко было заглянуть.

«Не первое оружие, из которого вы стреляете», — сказал Ленин.

«Но и не последнее».

Он расхохотался. Но на этом все и кончилось. Кто-то подбежал с новыми дурными вестями из Москвы. Сотни убитых. Массовые аресты. Ленин решил свернуть конференцию. Но восстание к тому времени было подавлено.

Наступали черные времена. Многие годы под знаком виселицы.

Но Ленин на конференции дал мне очень много, и это позволило мне удержаться на плаву в последующие годы. Он одарил меня признанием, личным знакомством. Он дал мне вдохновение — у нас, большевиков, был великий вождь. Он вселил в меня уверенность в наших методах, в нашем деле. Но странно, что из всего, чем он меня одарил, самым длительным оказалось изначальное чувство разочарования.

**Во время моей первой встречи с Лениным в 1905 году, и когда мы схлестнулись, и когда шутили на стрельбище, я понимал, что он присматривается ко мне.**

Хороший лидер всегда ищет нужных людей, чтобы пополнить свои ряды. Ленин отдавал себе отчет в том, что в партии были русские, евреи, поляки, но почти не было представителей богатого нефтью Кавказа. А те, что были, в основном принадлежали к мягкотелым меньшевикам. И вот перед ним возник твердокаменный большевик-организатор, прибывший прямо из тифлисских железнодорожных мастерских и нефтеперерабатывающих заводов Батума. Ленин-практик не мог не задуматься над тем, как меня использовать.

Чем больше я ему буду нужен, тем выше я поднимусь. Поэтому я старался быть полезным Ленину. Я выбрал линию. Я выбрал его линию. Я отстаивал его линию. Но, конечно, против природы не пойдешь, и я должен был внести в этот процесс что-то свое.

И, как обычно бывает, начались неприятности.

Проблема заключалась в том, что я, как никогда прежде, хотел стать лидером грузинских революционеров и считал, что вполне этого заслуживал, а это значило, что я вынужден был жить в состоянии по-

стоянного раздражения. И оно становилось заметным. Я был молод и только еще осваивал актерское искусство прятать собственные чувства.

Я вернулся после встречи с Лениным в Финляндии в задиристом настроении. Но дело не только в этом; своей деятельностью я настроил против себя меньшевистское большинство Грузинской социал-демократической партии, с которой мы, большевики, должны были сотрудничать, особенно теперь, когда царизм гасил последние искры революции 1905 года.

Меня вызвали на партийную дисциплинарную комиссию из трех человек.

«Товарищ Коба, — сказал человек, который вел заседание, — в партии сложилось общее впечатление, что вы нарушаете нормы, присущие подлинному революционеру. Вы выступаете за преступное насилие, грабежи, хотя отлично знаете, что наша партия ограничивается лишь революционным насилием. Вы отдаете все свое время комитетской работе и совершенно пренебрегаете как овладением марксистской теорией, так и практической работой в коллективах, чем всегда занимались раньше. Причина этого увлечения комитетской работой состоит в том, что вы пытаетесь создать свою небольшую группу внутри партии. Признаете ли вы себя виновным?»

«Виновен».

Они были поражены.

«Виновен по всем пунктам, — сказал я. — Я виновен по первому пункту: я сторонник грабежей и верю в их полезность, но теперь понимаю, что мне в достаточной мере не хватило самодисциплины. Я виновен в том, что пренебрегал теоретической работой и работой в коллективах. И хотя я не убежден, что многие часы, отданные мною комитетской работе, были посвящены созданию своей группы внутри

партии, я признаю себя виновным и по этому обвинению, чтобы показать вам здесь и сейчас, что вел себя неправильно и готов подчиниться партийной дисциплине».

Было забавно видеть на их лицах смятение и противоречивые чувства. С одной стороны, они меня недолюбливали, не доверяли мне и хотели меня либо исключить, либо наказать. С другой стороны, их партийная психология заставляла их поддерживать любого товарища, который осознал свои ошибки, ведь им приходилось ценить каждого бойца в великом неравном сражении с царизмом. Партийная психология победила чувства, как я и рассчитывал, — иначе какие бы они были революционеры?

Но я был достаточно умен, чтобы понимать: чувства эти никуда не уйдут и рано или поздно вылезут наружу — хотя бы потому, что рано или поздно я их спровоцирую.

Но в тот момент я не хотел вступать в конфликт с партией. Партийный съезд был намечен на апрель 1906 года в Стокгольме. Там будет Ленин. И я не хотел, чтобы кто-нибудь или что-нибудь помешало мне на нем присутствовать.

Я попросил у дисциплинарного комитета несколько дней, чтобы все обдумать, и они согласились.

И уехал один в Батум, на сей раз не заниматься агитацией на нефтеперегонных заводах. Я слонялся перед светло-желтым с белым зданием, украшенным толстыми классическими колоннами, где помещалось охранное отделение. Царская охранка скрывала свои действия, но не присутствие, напротив, она стремилась сделать его очень даже заметным. Даже в то время мне это показалось очень здоровым принципом.

На второй день около шести часов вечера я увидел человека, который был мне нужен, и я пошел за ним следом, как только он спустился с лестницы.

Я держался на почтительном расстоянии, заметив, что он соблюдает осторожность и постоянно оглядывается: революция хоть и подавлена, но убийства отнюдь не прекратились.

Хотя Батум — субтропический город, в тот день было довольно прохладно. Я шел с поднятым воротником и растирал руки. Мы миновали несколько кварталов, народу стало меньше, когда мы вышли на жилые улицы. Ясно было, что он идет домой.

Когда он завернул за угол на тихую улицу, я, немного выждав и закурив папиросу, быстро догнал его. Услышав быстрые шаги, он повернулся с выражением ужаса на лице. Сначала это был общий испуг при виде приближающегося сзади человека в грубой одежде, затем специфический испуг, когда он узнал меня.

Держа папиросу в одной руке и помахав другой, чтобы показать отсутствие злых намерений, я сказал: «Капитан Антонов, нам надо поговорить».

«Мой дом тут рядом, мы могли бы...»

«Только не у вас дома».

«Есть безопасная явка...»

«И только не там».

«Тогда где же?»

«Завтра в десять утра. Я буду в кафе «Феникс».

«Зачем?»

«Арестуйте меня».

«Я смотрю, вы поумнели».

«Рыбки становятся крупнее».

Я пил вторую чашку кофе, когда за мной пришли; русские ничего не делают вовремя.

Хотя Антонов был вежлив в своем кабинете, я видел, что он сердит на меня за вчерашнее — за то, что я напугал его, и, того хуже, за то, что увидел испуг на его лице. Поэтому он был довольно мрачен. В то же время он понимал, что должен обращаться со мной хорошо, поскольку я, видимо, сообщу ему



что-то ценное, иначе зачем мне было рисковать, преследуя его на улице, и просить, чтобы меня арестовали?

Он пригласил меня сесть, спросил, хочу ли я чаю. Я сел, но от чая отказался.

«О чем же мы будем сегодня говорить, Джугашвили? О поэзии?»

«Почти. Об издательском деле. Где-то на Кавказе есть типография, которая довела вас до безумия. Там десятками тысяч печатаются прокламации и десятками — фальшивые паспорта. От Тифлиса до Батума устраиваются облавы, но никто ничего не нашел, даже специальные следователи, присланные из Петербурга, оказались бессильны. Верно?»

«Возможно».

«Я не знаю, как работает ваша система, но уверен, что тот, кто ее обнаружит, получит повышение и может быть даже переведен в Петербург».

«Справедливый царь вознаграждает за хорошую службу».

«Я сдам вам эту типографию со всеми причиндалами».

«А взамен?»

«Мне от вас ничего не нужно».

«Не верю в сделки, где партнер ничего для себя не хочет. Откуда мне знать, что это не ловушка, не попытка уничтожить полицейский отряд? За такое повышение не дают».

«Вы окажете мне большую услугу, ликвидировав организацию».

«В чем смысл?»

«Я сам хочу возглавить грузинскую революционную партию».

Он расхохотался.

Я еле сдерживал гнев.

«Разговор окончен!» — сказал я.

«Нет, подождите, вы меня не поняли. Я рассмеялся над вашей скромностью»,

«Скромностью?»

«Да, потому что человек, который подходит ко мне на улице и просит его арестовать, чтобы устроить разгром своей организации, никогда не удовлетворится руководством партии в такой маленькой провинции, как Грузия».

Секунду я не мог выдавить из себя ни слова, потому что знал, что он прав. Антонов снова меня раскусил. У меня уже было другое желание. После того, как я впервые встретился с Лениным. Или, говоря точнее, я все еще хотел стать руководителем грузинской организации, но только потому, что это могло проложить мне дорогу — куда, я еще сам пока точно не мог сказать.

«Пожалуй, я выпью чашку чая».

\* \* \*

Они никогда не нашли бы типографию. Она помещалась в специальном помещении с вентиляцией, на дне тридцатиметровой шахты в окрестностях Тифлиса. Район представлял собою пустырь — железнодорожные пути, сараи, склады и бараки для заразных больных. В горячие дни революции 1905 года эта типография, подпольная во всех смыслах этого слова, выпустила более 250 000 экземпляров нелегальных газет и листовок на трех языках — русском, армянском и грузинском. Там же изготавливались и фальшивые паспорта, была также маленькая лаборатория по производству взрывчатки.

Я там никогда не был. Мне даже не полагалось знать, где находится типография, — во-первых, потому, что мне не надо было этого знать, а во-вторых, потому, что грузинские меньшевики мне не доверяли. Но я узнал. Секреты дают власть. Власть пита-

ет тщеславие — по крайней мере у некоторых; а в чем смысл власти, если об этом никто не знает, если об этом нельзя обмолвиться даже намеком? Поэтому я собирал сведения у многих людей, чтобы ни у одного не сложилось впечатления, что он сказал мне что-то такое, чего я уже не знал.

Облава была совершена 15 апреля 1906 года. К 10 апреля я уже находился в Стокгольме, в Швеции, на Четвертом съезде социал-демократической партии. У меня было лучшее из всех возможных алиби — Ленин.

Если у меня возникло чувство разочарования при первой встрече с Лениным в час триумфа, то теперь оно сменилось неподдельным восхищением в час, который нельзя было назвать иначе, как поражением. Революция 1905 года была подавлена, и Ленин уступил контроль над партией меньшевикам. Но в нем не было и тени от побитой собаки. Напротив, он сражался яростнее, чем когда-либо. Что бы ни происходило, борьба продолжается, и вопреки всему надо стремиться к победе.

На съезде было два главных вопроса, по которым шла борьба, две проблемы, по которым вечно спорят революционеры, — что делать, когда удастся захватить власть, и главное, как ее захватить.

Для меня было что-то комичное в этой группе потрепанных бородатых русских, бурно обсуждавших, что они будут делать, свергнув царя, а пока одалживавших друг у друга жалкие рубли, чтобы наскрести на обратный билет до дома. Меня больше интересовала проблема финансирования революции. Снова меньшевистские лидеры выступили против того, что они называли «преступным насилием», имея в виду ограбления. Ленин стоял за ограбления. Спорил он с неистовой силой, сарказм его был убийственным, подбородок его подскакивал вверх и дрыгался как кулак. Ленин доказывал, что ограб-

ление банка — не что иное, как экспроприация экспроприированного ранее. Это была удачная формулировка для интеллигентов, но несколько трудноватая для людей, которым приходится заниматься этим на практике; они предпочитали краткое и выразительное словечко «экс». Но до этого было еще далеко, потому что большинство было у меньшевиков и их резолюция против насильственной экспроприации денег прошла с легкостью — шестьюдесятью четырьмя голосами против четырех при двадцати воздержавшихся.

Хотя мы этого ожидали, резолюция прозвучала тяжелым моральным ударом для некоторых товарищей. Но не для Ленина. Он продолжал бороться, хотя бы для того, чтобы поддержать моральный дух товарищей. После окончания съезда большевистские делегаты сбились в маленький кружок вокруг Ленина, спрашивая его совета. В голосах некоторых слышались усталость, безысходность. Им Ленин отвечал резко, сквозь стиснутые зубы: «Не хныкать, товарищи, мы непременно победим, потому что мы правы».

В этом был весь Ленин: ненависть к хныкающим интеллектуалам, уверенность в собственных силах, уверенность в победе — и именно это спланивало вокруг него армию верных ему до конца людей.

Я был в этой группе, держась слегка сзади, да нас в те дни было совсем немного. В какой-то момент Ленин посмотрел прямо на меня. Я улыбнулся ему, моему вождю, моему алиби. Он видел, что я в приподнятом настроении и что меня не нужно взбадривать. Это ему понравилось, и, хотя голова его не шевельнулась, я уловил нечто, напоминающее одобрителный кивок.

Когда кружок растаял, Ленин подошел ко мне и не стал тратить время на пустую болтовню. «Что вы думаете о нашем проигрыше меньшевикам по вопросу об экспроприации?»

«Мне не хотелось бы проигрывать им по любому вопросу».

«Это ясно без слов. Так что же вы думаете?»

На несколько секунд я растерялся. Он был старше меня, он был лидером, и его интересует мое мнение. «Я думаю... что все очень просто. Если у вас есть несколько копеек в кармане, вы можете зайти в ресторан и получить чай и бутерброд. Но если нет денег, то не будет и чая».

Ленин засмеялся. «Мне это нравится, — сказал он. — Нет денег — не будет чая».

**С Лениным меня связывало преступление, с Троцким — оскорбление, и то и другое произошло в одном и том же месте — в Лондоне в 1907 году.**

Пока Троцкий не нащупал моих связей с царской охранкой, но по какой-то причине он быстро сфокусировал свое внимание на преступлении, которое связывало меня с Лениным. Пятый съезд социал-демократической партии в Лондоне оказался многолюдным. На нем присутствовало триста два делегата с решающим голосом, каждый представлял пятьсот членов партии. Я не был из их числа, я принадлежал к тем, у кого был лишь так называемый «совещательный голос». У Троцкого это сразу же вызывает подозрения.

«Зачем вообще Коба приезжал... в Лондон? Он не мог поднимать руку как делегат. Он оказался не нужен как оратор. Он явно не играл никакой роли на закрытых заседаниях большевистской фракции. Невероятно, чтобы он приехал только для того, чтобы послушать и посмотреть. У него были, очевидно, другие задачи. Какие именно?»

Их было две.

Первая задача, которую я перед собой поставил, — использовать все возможности для наблюдения за

Лениным в действии. Ленин был великим учителем. Он показывал, как надо действовать, как себя вести. На съезде в Лондоне большевики взяли верх. Победа может вскружить головы некоторым лидерам, в них вселяется гордыня и хвастовство. К Ленину это ни в какой мере не относилось. Наоборот, именно после победы он стал особенно осторожным. «Самое главное, — говорил Ленин, — избежать опьянения победой, далее нужно консолидировать победу и, в-третьих, разгромить оппонентов, потому что они просто проиграли, но далеко не уничтожены».

Была и вторая задача, о которой догадывается Троцкий. Он знает, что я встречался с Лениным один на один в Берлине до лондонского съезда, и он недалек от истины, когда говорит, что это было «не ради теоретических «бесед» ... и почти несомненно было посвящено предстоящей экспроприации... Насильственный захват денежных средств казался... единственным средством дальнейшего финансирования революции. Инициатива, как почти всегда, пришла снизу».

Я и был этим «низом».

Ленин отправил жену с каким-то партийным поручением. Мы пили чай на балконе, глядя вниз на зеленую листву и уличное движение Берлина.

Он держался по-дружески, сердечно, хотя в нем чувствовалось и неимоверное напряжение, — все одновременно. Синяя жилка пульсировала на виске, чашка дрожала на блюде.

Не в том дело, что он чего-то боялся. Просто он знал, что ему предстоит перейти рубеж, тот рубеж, который отделяет революционное насилие от уголовного насилия. Был высокий политический риск, особенно в случае провала.

Мне все еще было несколько не по себе в его присутствии; так чувствует себя юноша рядом со взрослым человеком, как бы он ни готовился к встрече и даже репетировал ее. Правда, это не мешало

мне заметить некоторые его маленькие слабости. У него в излишней мере был ум шахматиста. Ему не доставало поэтичности и подозрительности. Кинто уважали бы его, но это не помешало бы им обчистить его карманы.

«Хорошо, — сказал Ленин, — я готов вас выслушать».

«Императорский банк на Эриванской площади в Тифлисе».

«Когда?»

«Этой весной».

«Сколько это может дать?»

«Сотни тысяч».

Он замолчал. Все любят большие цифры. «Каковы шансы?»

«Довольно хорошие».

«А если не выйдет?»

«Наша версия будет: мы порвали с вами, потому что вы не одобрили насилие».

«Вы поедете в Лондон?»

«Да».

«Свой ответ я дам в Лондоне. Как только закончится съезд. А пока я хочу несколько дней подумать об этом. И о вас».

Вот почему этот лондонский съезд так много для меня значил. Либо Ленин доверится мне, либо — нет, либо свяжется со мной, либо — нет. Хотя я внимательно следил за дискуссией, мне не хотелось принимать в ней участие. Слова не шли на ум. Меня все это как бы не касалось. Как и голосования, и закрытые заседания. Меня занимало только одно: проголосует ли Ленин за меня на нашем с ним закрытом заседании вдвоем.

Конечно, я не мог не обратить внимания на Троцкого. Он говорил часто и длинно, на слишком правильном для еврея русском языке; брызги летели у него изо рта, когда он приходил в возбуждение и начинал размахивать указательным пальцем. Тогда



впервые он обнародовал свою знаменитую идею «перманентной революции». У него была фантастическая идея о том, что когда-нибудь рядовой человек поднимется до высот Гёте и Аристотеля. Странная это ситуация. Революция 1905 года подавлена, гайки затянуты как никогда крепко, вешатели трудятся сверхурочно. Рабочие и интеллигенты пачками покидают наши ряды; рабочие — потому что они устали от избиений, интеллигенты — потому что сочли эротическую мистику для себя более привлекательной. Но партия выросла, как никогда прежде, и Троцкий пророчествовал о перманентной революции. Партия, возможно, и выросла как никогда, но она как никогда пребывала в финансовой пропасти. Я точно знаю, что если бы один английский либерал не пожертвовал денег, мы не могли бы собраться в церкви Братства, да и вообще нигде. Мои надежды были связаны с этим обстоятельством.

На предыдущей конференции я схлестнулся с Лениным, но это было похоже на драчку двух мальчишек на школьном дворе, когда одному из них захотелось вдруг испытать силу старшего приятеля. А вот Троцкий нападал на Ленина, устраивал с ним словесные дуэли и ни в какой мере не желал принимать его руководства. Он даже поучал Ленина и по вопросам тактики и марксизма. Троцкий демонстрировал себя делегатам, давая им понять, что идет борьба за руководство, борьба за их лояльность.

Я видел, что Ленин пытается перетянуть Троцкого на свою сторону. Меня не удивило его желание сделать так, чтобы эта тяжелая пушка стреляла с его стороны, а не в него. Объективно это не могло вызвать возражений, но субъективно в его манере завоевания Троцкого на свою сторону чувствовалось что-то такое, что мне было не по душе. Ленин как-то уж чересчур радовался, когда они с Троцким в чем-нибудь соглашались.

Я видел, что Ленин нуждается в Троцком, я не видел другого: нуждается ли Ленин во мне.

Я несколько раз проходил мимо Ленина, и обычно мы кивали друг другу. Я ничего не мог прочесть на его лице. Но, собственно, если б мог, то Ленин упал бы в моих глазах.

Это не означало, что я не хотел прочесть. Я умею быть терпеливейшим из людей, но в некоторых тюрьмах, в которых мне довелось сидеть, время бежало быстрее, чем в церкви Братства, которая находилась в Лондоне, но пропиталась чисто русским запахом прелых пальто, затхлой смесью пота и дешевого табака.

Иногда я заставлял себя не слышать делегатов и пытался предугадать ленинские вопросы, возражения. Я хотел угадать его ответы. Я не был Троцким, мне надо было завоевать Ленина.

Надо ли? Что, если он скажет: нет, идея не годится. У меня будет выбор — подчиниться или не подчиниться. Если будет провал и меня схватят, меня ждут десять лет за Полярным кругом, и Ленин к тому времени обо мне забудет. А если все пройдет как надо, откажется ли он от сотен тысяч рублей: ведь революция стоит больших денег, а ему нечем заплатить даже за аренду церкви?

Зная, что у меня есть этот выбор, я нашел в себе силы дожидаться встречи с Лениным.

Когда съезд закрылся, время снова замедлило ход — заключительные замечания, фотографии на память. Некоторые уезжали сразу, но, как обычно, многие задержались, разбившись на группки, они продолжали что-то обсуждать, спорить, кого-то осуждать. Я стоял сбоку от одной из групп, чтобы не создалось впечатления, что я кого-то жду, и чтобы Ленин мог меня заметить. В какой-то момент к этой группе подошел Троцкий — послушать, о чем говорят делегаты. Я наблюдал за тем, как он слушает. Он слушал плохо. Он один из тех людей, которые фактически не слушают, а просто ждут момента, чтобы заговорить самим.

Можно было почувствовать, как говорильная машина внутри его набирает обороты, он едва ее сдерживал. А когда больше был не в состоянии сдерживаться, слова стали буквально извергаться из него, как будто воздух был создан только для того, чтобы наполниться словоизвержением Троцкого.

Я наблюдал и за тем, как на это реагируют люди. Некоторые были точно в гипнозе, но большинство уже наслушалось его во время съезда и не боялись его прерывать. Возмущенный, Троцкий отходил, выискивал другую группу, чтобы снова доминировать и поучать, помахивая своим указательным пальцем.

Именно в этот момент Ленин возник из небольшого кружка людей и зашагал в мою сторону. Я посмотрел на него со всей безучастностью, какую мог изобразить, пытаясь понять, настал ли момент, когда он захочет встретиться со мной глазами. Да. Искорка его глаз нацелилась прямо в меня. Я понял, что он хочет проделать все быстро, естественно, на ходу.

«Товарищ Иванович, — сказал он, — вы почти ничего не говорили».

«Я приехал слушать».

«Ну и хорошо, слушайте...»

Внезапно дорогу нам перегородил Троцкий.

«Вы неправы, — сказал он Ленину, — настаивая на том, что экспроприации оправданны. Дорога к перманентной революции должна оставаться чистой и возвышенной». Сказав это, Троцкий взглянул на меня секунду, и мне показалось, что я почувствовал у себя на щеке брызги его слюны. Снова повернувшись к Ленину, он сказал: «Если мы не сумеем сохранить тонкую грань между революционными актами, такими, как убийства, и преступными актами, такими, как грабежи, отсталый русский народ воспримет революцию как приглашение к грабежу и убийствам».

Ленин снисходительно улыбнулся, слишком снисходительно. «Позвольте мне представить вам товарища Ивановича с Кавказа...»

Троцкий посмотрел на меня, лицо его скривилось, как это делают культурные русские, когда слышат, как их язык коверкает иностранный акцент, хотя я не произнес ни слова.

Я едва не протянул Троцкому руку, но тут он снова перевел взгляд своих синих глаз на Ленина и сказал: «Я не могу принимать сторону того, кто не разделяет этот фундаментальный принцип».

И отошел, пройдя вплотную ко мне и даже оскорбительно задев.

«Горячая голова, но блистательная», — сказал Ленин.

Момент был испорчен. Мне стало почти безразлично, что скажет Ленин.

Если он одобрит мою идею, все равно это будет отравлено влагой слюны Троцкого и его презрительным поворотом головы. Если Ленин не даст своего благословения, неприятные ассоциации все равно останутся надолго.

«Не волнуйтесь, — сказал Ленин. — Я представлю вас ему в другой раз. Может быть, мы втроем сядем и поговорим, выпьем чаю, даже перекусим. Мы сможем себе это позволить, я правильно понимаю, товарищ Иванович?»

Я все понял. Кивнул. Я даже выдавил из себя нечто вроде благодарной улыбки. Затем кто-то подхватил Ленина под руку и отвел в сторону. Ну и неважно. Мы с ним поняли друг друга.

Я немедленно вышел из церкви Братства на лондонский дождь и увидел царского полицейского-шпики, с ненатуральной праздностью болтавшегося в свете уличного фонаря с той же газетой в руке, что и все три недели, пока проходил съезд, — зачем тратить деньги на газеты, если все равно не можешь их прочитать?

**Теперь все утверждено официально. Сегодня, 11 марта 1939 года, поздним вечером операция по ликвидации Троцкого приведена в действие.**

Я начал рабочий день с просмотра личного дела Павла Судоплатова, человека, которого Берия выбрал для руководства специальной группой. Судя по бумагам, он производит хорошее впечатление. Родился в 1907 году на Украине, отец — украинец, мать — русская. Мне понравилось это совпадение: он родился в том же году, когда Троцкий оскорбил меня в Лондоне.

В 12 лет Судоплатов убежал из дома и вступил в Красную Армию. Хорошо сражался во время Гражданской войны. В 14 лет поступил в органы безопасности, работал телефонным оператором и шифровальщиком. Женат на еврейке, тоже из органов безопасности. Вот и вся его биография. Смелый, энергичный, изобретательный.

Конечно, в делах такого рода я не принимаю решений, полагаясь лишь на личное дело, но, как говорят русские, информация — мать интуиции.

И тут я вспомнил, что, конечно, встречал Судоплатова раньше, два года назад, сразу после праздника революции в 1937 году, когда чистки достигли апо-

гея. Судоплатов, которому тогда исполнилось 30, чувствовал себя скованно в моем присутствии и не мог вразумительно доложить. Я сказал ему: «Молодой человек, не волнуйтесь так. Сообщите существо дела. В нашем распоряжении только двадцать минут».

Мне понравился его ответ: «Товарищ Сталин, для рядового партийца встретить вас — великое событие. Я понимаю, что вызван по делу. Через минуту я совладею со своими эмоциями и доложу вам все основные факты».

Что он и сделал.

Эти факты касались украинского националиста по имени Коновалец, который жил за границей и был заочно приговорен к смерти за преступления против украинского пролетариата. Перед Судоплатовым стояла задача — привести этот приговор в исполнение.

Я спросил, есть ли у Коновальца какие-нибудь личные пристрастия, которые мы можем использовать.

«Он очень любит шоколад», — сказал Судоплатов.

«Может быть, это и есть ответ на мой вопрос», — предложил я.

Так оно и вышло. Судоплатов взорвал этого человека в роттердамском ресторане коробкой взрывчатки, замаскированной под украинский шоколадный набор. Любовь к сладкому до добра не доводит.

Так или иначе, репутация Берии теперь в руках Судоплатова. Если Берия не ошибся относительно него, то пойдет еще выше, если ошибся, то падать ему низко. Таково правило власти, любой власти.

Я каким-то образом подвернул колено, когда делал утреннюю гимнастику, и целый день боль приходила, то затихала. Я не хотел, чтобы она отвлекала меня во время встречи с Берией и Судоплатовым, но аспирин принимать не стал. Я терпеть не могу глотать таблетки, как бы ни была запечатана пробка на бутылочке. Лучше потерпеть боль, чем принять таблетку, прописанную доктором Троцким.

Я назначил встречу в Кремле, хотя предпочел бы принять Берию и Судоплатова на даче. Но у меня были в Кремле и другие дела. Гитлер занял Прагу. Произошли стычки с японцами на наших восточных рубежах.

Сев за письменный стол, я набил новую трубку, но не закурил ее.

Поскребышев занимался бессмысленным протираанием мебели и расстановкой стульев. Даже стоя спиной ко мне, он готов был уловить любой мой сигнал, любой жест. И я знал, что, ничем этого не показав, он был счастлив, что операция начнет набирать обороты. Что-то в его характере одобряло величественность предприятия. Одобряло, что оно реализуется не сломя голову, что оно начинается в Кремле и завершается в год моего шестидесятилетия, а это серьезный возраст.

Нет сомнения, что Поскребышев, приводя в порядок мебель, посматривал на часы и знал, как и я, что время приема наступило — что, конечно, означало, что посетители уже прибыли. Берия предупредил меня по телефону, что вызовет Судоплатова, отчитает за малую активность в последние месяцы, а затем пригласит поехать с ним вместе на встречу, с кем и куда — не скажет. Конечно, теперь тому уже все ясно, но замысел состоял в том, чтобы слегка его встряхнуть, а это всегда хорошо, если хочешь увидеть, из какого теста слеплен человек.

Но я решил заставить Берию подождать несколько минут, точно по той же причине.

Затем я сделал легкое движение головой в сторону, и Поскребышев тут же направился к двери. Я ждал за столом, пока он откроет дверь Берии и Судоплатову. Берия пропустил Судоплатова вперед и в знак вежливости, и чтобы я мог беспрепятственно его рассмотреть. Темные волосы, густые брови, правильные черты лица, похож скорее на грека, чем на русского. Не дурак. Он знал, как на меня смотреть и как себя

подать. Он улыбнулся, как бы говоря: я уже не тот заикающийся молодой человек, каким был два года назад, когда вы меня видели, хотя мое уважение к вам за это время только выросло. Все правильно.

Я вышел из-за стола и пожал ему руку. И это было хорошо. Он знал, как пожимать руку Сталина.

Берия, с капельками пота на лбу, стоял поодаль, он понял, что мое первое впечатление благоприятное. Я пригласил их к столу, покрытому зеленой бязью. Заметил, как Судоплатов быстро огляделся вокруг, глаза его пробежали от портрета Ленина над письменным столом к портретам Маркса и Энгельса на прилегающей стене, как бы стремясь запечатлеть в памяти мой кабинет, пока мы не приступили к делу.

Берия знал, что я говорю последним и что, конечно же, Судоплатов, младший в комнате, ни в коем случае не должен говорить первым, и потому ждал моего едва заметного кивка, чтобы начать.

Именно в это мгновение я уловил запах этого ужасного, излюбленного Берией одеколона, одеколона уютливого официанта, одеколона насильника. Мне показалось, что Берия более чем обычно возбужден этой встречей и, вероятно, потом отправится на одну из своих экспедиций, чтобы снять напряжение.

«В течение ближайших месяцев в Европе вспыхнет война, — начал Берия. — Все пытаются упрочить свое положение. Мы хотим, чтобы в европейском бизнесе, в политических кругах, в профсоюзах, в прессе было как можно больше наших агентов влияния. Мы хотим влиять на западное общественное мнение, на принятие решений. Уже по определению, наши агентами влияния могут быть люди левых убеждений, нам симпатизирующие. Проблема в том, что многие из этих людей склоняются к Троцкому».

Боль пронзила мое колено. Я потер его, встал и принялся ходить, чтобы разработать его.

«Не многие, а некоторые», — поправил я.



Я остановился, чтобы разжечь трубку, сквозь дым глядя на Берию; мне было интересно, как он отреагирует на поправку, на мое замечание.

«Иногда и некоторые — это слишком много», — сказал он.

Я улыбнулся. Мне его ответ понравился, трубка хорошо тянулась, и боль почти прошла. Когда я снова начал ходить, Берия продолжил: «Я предлагаю, чтобы товарищ Судоплатов был повышен и назначен заместителем заведующего иностранным отделом и поставлен во главе операции, которой будут предоставлены все ресурсы для ликвидации Троцкого, злейшего врага нашего народа».

Когда Берия договорил, мы оба посмотрели на Судоплатова, который сидел не шелохнувшись, весь внимание. Я видел, что он чувствует себя комфортно во время этого разговора, воспринимает его логику, тональность. И еще я видел, что он искренне польщен заданием.

Снова остановившись, я произнес тоном, исключаям всякую двусмысленность: «В троцкистском движении нет значительных фигур, кроме самого Троцкого. Если с ним будет покончено, угроза будет устранена».

Боль отступила, оставив лишь тянущее чувство, и я сел за стол.

«Если вы добьетесь успеха, — сказал я Судоплатову, но подразумевая и Берию тоже, — вас наградят и мы позаботимся и о вас, и о всех членах вашей семьи».

Судоплатов понимающе кивнул, но затем сказал тоном, похожим больше на честное признание, чем на скромную оценку своих возможностей: «Я не вполне подхожу для операции в Мексике, я не говорю по-испански».

«Вы будете докладывать прямо Берии, который будет докладывать прямо мне. Не волнуйтесь, мы тоже не говорим по-испански».

Судоплатов сказал: «Прошу разрешения привлечь ветеранов партизанских операций во время гражданской войны в Испании».

«Это ваше дело, — сказал я, — и ваш партийный долг — найти надежных людей для выполнения задания. Вам будет оказана любая поддержка, любая помощь, которая может понадобиться. Вы лично организуете отправку специальной группы из Европы в Мексику и будете докладывать о ее действиях только в отчетах, написанных вами собственноручно».

Я замолчал, мне было интересно, предпримет ли Судоплатов еще одну попытку уклониться от поручения. Принимать его опасно, уклоняться тоже. Мне понравилось, что Судоплатов оказался достаточно умен, чтобы это понять.

Мне не нужно было говорить Берии, что все доклады от Судоплатова я жду немедленно, но я хотел, чтобы Судоплатов это услышал.

«Я желаю вам успеха», — сказал я, подразумевая: не подведите.

Я встал, мы обменялись рукопожатием, и они вышли в открытую Поскребышевым дверь, бледное, пухлое лицо которого оставалось непроницаемым, но от меня не укрылось: он рад, что после всех этих лет операция наконец началась.

«Проветрите кабинет, — сказал я ему, — он провонял одеколоном».

**Как только я получил добро Ленина на ограбление банка, сразу сам вник во все детали.**

Я ничего не оставил на волю случая, потому что знал, что слишком многое все равно зависит от случая: когда начинаешь швырять бомбы в лошадей и казаков на людной площади, произойти может все что угодно. Самое главное — создать хаос, но такой, чтобы суметь им воспользоваться. Это очень тонкая грань, а люди кругом кричат и обливаются кровью.

Мы знали, что большая партия денег должна прибыть в Императорский банк на Эриванской площади Тифлиса 12 июня 1907 года. Три раза будет возможность завладеть деньгами. Во-первых, на поезд можно напасть по пути в Тифлис, но тут шансов на успех меньше всего. Расписание поездов иногда меняется в последнюю минуту, особенно когда дело касается такого важного груза. Бронированный вагон будет усиленно охраняться. Неизбежны жертвы, велика вероятность полного провала.

Далее, деньги предстоит доставить с поезда в здание почты на площади Пушкина. Здесь груз более уязвим, но район вокруг почты не располагает к хождению, а ведь вовлечено будет очень большое количество наших людей: бомбометатели, боевики, воо-

руженные револьверами, — те, кому поручается захватить сами деньги, и те, кто будет ждать неподалеку с лошадьми. К тому же деньги с поезда будут перевозить под охраной императорской гвардии, а она лучше подготовлена, чем те, кто будет перевозить деньги от почты до банка на карете, запряженной лошадьми.

Поэтому третий вариант — перехватить деньги между почтой и Императорским банком на Эриванской площади — становился единственно возможным. Но где на этом пути?

После многих долгих прогулок по тифлисским улицам я решил, что ограбление следует осуществить на самой Эриванской площади. Банк расположен на площади, которая будет полна народа в этот час дня. Поэтому попасть на нее незамеченными будет легче. Когда карета въедет на площадь, она должна будет замедлить ход из-за скопления других экипажей, лошадей, людских толп. А чем больше людей, тем больше паника.

Был также и революционный мотив. Захват денег в центре самой деловой площади города произведет сильное впечатление на народ. Люди поймут, что власти не в состоянии защитить даже свои собственные деньги, увидят, насколько полны решимости революционеры, насколько они тверды и отважны.

Я проверил каждую деталь — от первичной информации и до длины запалов на бомбах.

Насколько надежна информация, что эта значительная партия денег прибудет в Императорский банк утром 12 июня? У них были источники информации внутри нашей организации, у нас — внутри их. Но правда и то, что обе стороны подкидывали друг другу ложную информацию. С тем, чтобы выманить наружу и уничтожить. Все зависело от надежности первичной информации.

Тут у нас были верные помощники. Во-первых, благодаря связям среди железнодорожников, в ряды

которых мы внедрялись в течение многих лет, мы узнали, что специальный поезд действительно прибывает в этот день, потому что инструкции относительно специальной сигнализации и переключения стрелок передали заранее. Во-вторых, доставку денег с поезда на почту можно будет видеть своими глазами. Если доставка не будет замечена, всю операцию можно будет просто отменить.

Я побывал в подвальной лаборатории изготовителя бомб, Вити, который был фанатиком своего дела. Хотя от изготовителя бомб требуется самообладание, так же как смелость — от бомбометателя, в невозмутимости Вити было что-то не от мира сего. Поэтому я нервничал. И конечно, не могло быть и речи, чтобы закурить в его мастерской.

Витины очки в проволочной оправе, казалось, врезались в его кожу. Когда он их снимал, по бокам его лица и вокруг переносицы всегда виднелись темно-красные рубцы.

«Витя, ты их уже проверил?» — спросил я.

Витя промолчал. Нахмурившись, он склонился над своим рабочим столом, грязным, хотя все на нем было аккуратно разложено; его плоскогубцы вцепились во что-то, никак не желавшее поддаваться. Лицо перекосила гримаса, металл не поддавался. Лоб его отделяли от бомбы всего несколько сантиметров..

«Никуда не денется, согнется, — выпрямившись, с улыбкой сказал Витя. — Что ты спросил? Испытывал? Да, да, две испытал. Обе сработали как надо. И, что еще важнее, сработали совершенно одинаково».

«Что это значит?»

«Это значит, что они дали хорошую вспышку пламени, изрядное количество тяжелого черного дыма и разбросали достаточное количество шрапнели, чтобы убить лошадь и пятерых охранников. И еще — это самое приятное — они достаточно легкие, и их мож-

но швырнуть на приличное расстояние, если, конечно, рука крепкая. И нервы. Я бы не смог, а ты?»

«Чем изготавливать, я бы уж скорее бросил».

«Изготовить — это ерунда. Главное — не делать ошибок. А в остальном — не сложнее, чем затопить печку».

«Ловлю тебя на слове. Какой длины запалы?»

«Думаю, уйдет секунд двадцать, чтобы запалить и метнуть чуть вверх, чтобы покрыть нужную дистанцию; если метнуть сразу несколько, то даже если люди побегут от первой, они попадут под вторую».

«Это меня устраивает».

«Если не возражаешь, я пойду на площадь посмотреть, — сказал Витя, сняв на секунду очки, чтобы протереть слезящиеся глаза. — Мне важно увидеть механизм в действии».

«Нет возражений».

Он благодарно кивнул. Затем поднял на меня глаза, как бы спрашивая, нужен ли он мне еще. Ему хотелось вернуться к работе.

«Дай подержать», — попросил я.

Витя улыбнулся, довольный, что его работу оценят не только на вид, но и на ощупь.

Хотя и легкая, бомба все же имела приятный вес, и чтобы швырнуть ее далеко и не попасть под шrapнель самому, требовалась уверенная рука.

Взвешивая бомбу в руке, я одновременно взвешивал решение. Меня сжигало искушение самому метнуть бомбу как последнюю деталь операции, которую я мог проконтролировать, и одновременно прочувствовать, что это такое. Но были серьезные доводы против. Моя сильная сторона — организация, а не прямое действие, для которого всегда можно найти сколько угодно кандидатов.

И другая причина не метать бомбу самому — фактор провала, который нельзя полностью исключить. Ленинского брата повесили за то, что задержавшая

его полиция нашла у него замаскированную под словарь бомбу. Если это случилось с ним, то могло случиться и со мной. И кто гарантирует, что осколок брошенной мною бомбы не зацепит случайно меня самого?

Я сказал себе, что самое важное, чтобы вся операция прошла без сучка без задоринки и чтобы я доставил Ленину деньги. Все остальное — потакание собственным прихотям. Мысль о Ленине заставила меня вспомнить Троцкого, как он отравил тот знаменательный для меня момент в Лондоне, когда он, задев меня, оставил нас с Лениным. Именно там, в мастерской Вити, мысль о том, чтобы убить Троцкого, впервые промелькнула в моем мозгу. До этого я чувствовал лишь болезненное оскорбление и гнев. Теперь я поджег длинный-длинный запал.

Я уже собирался отдать Вите бомбу, когда в моих мыслях совершился вдруг внезапный головокружительный поворот. До этого я думал лишь в категориях земли, горизонтально. А ведь это совершенно не обязательно, можно посмотреть на вещи в вертикальном плане, сверху вниз. Я уже обратил внимание на одно из зданий на площади, с крыши которого можно было видеть все, что происходит внизу. Я могу бросить бомбу оттуда, особенно если доставить ее туда заранее, избавившись от необходимости нести ее при себе через весь город. К тому же, если бросить ее с крыши, вероятность того, что меня зацепит шрапнель, равна нулю.

«Сделай еще одну для ровного счета», — сказал я Вите, возвращая бомбу.

Затем я в последний раз откорректировал все детали с Камо. Армянин Камо происходил из моего родного Гори и был несколькими годами меня младше. Когда-то меня наняли к нему в репетиторы. Многими годами позднее я давал ему уроки марксизма. Обожавший опасность и ненавидевший несправед-

ливость, Камо был человеком, которого нетрудно было привлечь на свою сторону. Я мало встречал таких простодушных людей и часто задавал себе вопрос: не потому ли он никогда не терял голову, что не знал, что она у него есть?

Камо и минуты не мог высидеть спокойно. Это мне не нравилось. Я хотел, чтобы он был более собранным, выдержанным, спокойным.

Сначала я молчал и только следил за его движениями. Пугающая физическая сила: не хотелось, чтобы такой человек оказался на моем пути. Волосы, брови, усы — черные как уголь. Простодушные детские глаза. Верхние кончики ушей были как бы оттянуты в стороны, они словно прислушивались, не донесется ли звук чьих-то шагов.

Но я знал, как им управлять. Нужными словами, нужным тоном. Камо сделает все, как ему скажешь. Причина проста. Камо обожал действовать и терпеть не мог думать. Поэтому он всегда был благодарен, когда ему объясняли, что делать: это избавляло его от того, в чем он не был силен.

«Сядь, Камо, нам надо поговорить», — сказал я. Камо сел.

Я попросил его пересказать его роль в операции: переодетый в царского офицера, он выскочит на площадь верхом, схватит деньги в тот момент, когда их выбросят из экипажа, и передаст другим всадникам. Я хотел убедиться, что он ясно представляет себе все детали, настолько ясно, насколько это ему доступно.

Камо отличался тем, что не на все сто процентов понимал все правильно. Даже его кличка была ему дана за его исковерканную манеру произносить русское слово «кому». Я поддразнивал его, чтобы привлечь его внимание: бомбы — каму? Деньги — каму?

Но он знал все ответы, как и в те дни, когда я его учил. Вопрос был только в том, будет ли он все



помнить, когда выйдет за порог дома. Но в одном я мог быть уверен: чем труднее пойдет операция, тем лучше он себя покажет. Так уж он был устроен. В дверях я похлопал его по спине, давая понять, что я в него верю.

Наконец пришла весть: деньги прибыли, доставлены на почту, оттуда их повезут на следующий день в десять часов утра. Я прошел по Эриванской площади в грязной одежде, с ведром и щеткой в руках, как ходят трубочисты. Бомба ждала меня на крыше, завернутая в тряпье и спрятанная в водосточной трубе.

С крыши я видел очертания гор, возвышающихся над городом; был ясный июньский день. Я внимательно оглядывал площадь, ища признаки чего-то необычного. Все выглядело нормально: люди, идущие по своим делам, матери с детьми, чиновники в форме, уличные торговцы, лошадь, медленно везущая телегу с дынями. С высоты люди казались игрушечными.

Через короткое время некоторые из них будут убиты или искалечены по пути в лавку за нитками. Кто-то окажется от этого избавлен; с утра пораньше они отправились с визитом к чиновнику, неся с собой нужные бумаги, на обратном пути их карманы полегчают на некоторое количество рублей, которые придется выложить как на официальный сбор, так и на взятку.

Если не считать бомбы, я не был вооружен. В карманах у меня были часы, коробка спичек и наряд на чистку труб по этому адресу. Время от времени я для проформы и в самом деле латал какую-нибудь трубу, действительно потрескавшуюся и нуждавшуюся в ремонте. Но в основном я лежал на засыпной крыше, покрытой белым птичьим пометом. Подперев голову локтями, я ждал и наблюдал.

Тощая старуха с ломтем хлеба под мышкой остановилась посплетничать, хорошо бы, чтобы новых сплетен было не много. Мальчик, швырявший крас-

ный мяч об стенку, — хорошо бы его поскорее позвали приятели. Уличные торговцы никуда не собирались, некоторые из них обречены, но кто именно — никогда неизвестно.

В девять тридцать я уже был весь напряжен, прислушиваясь, когда донесутся звуки приближающегося к площади конвоя и связанного с этим переполоха.

Десять часов, по-прежнему ничего. Может быть, поменялся маршрут? Поменялся час? Или сигнальная система, которую я всегда находил излишне усложненной, дала сбой? Или же дала сбой одна из тысячи деталей, которая могла дать сбой, — случайность, паника, арест?

Я чувствовал отчаяние и отвращение к самому себе. Я говорил себе, что все мои надежды возвыситься в партии, мечта стать доверенным соратником самого Ленина — не более чем фантазии провинциала. У меня нет шансов стать чем-то большим, чем я являюсь сейчас — мелким организатором, мелким жуликом, который привлек к себе внимание Ленина за отсутствием лучшего варианта. Ограбление не состоится. В Европе Ленин и Троцкий только презрительно фыркнут.

Но тут я увидел шедшего по площади нашего сигнальщика Бачуа, он открывал и закрывал газету, ясно белевшую на утреннем солнце. Это значило, что все идет по плану. Вся серия сигналов — первый должна была подать бомбистам, ждавшим в ресторане неподалеку, женщина на площади Пушкина — пробежала как импульс по здоровой нервной системе.

Затем внезапно, возникнув как будто где-то за сценой, бронированная почтовая карета со звонким цокотом копыт въехала на площадь в облаке пыли и в окружении казаков. Как мы и ожидали, густая толпа резко замедлила движение кареты. Казаки, крича и размахивая бичами, поскакали в стороны от каре-

ты, расчищая ей дорогу. Таким образом, карета и лошади остались без прикрытия. Были брошены три бомбы — в лошадей, в казаков и одна наугад в толпу, чтобы создать хаос. Как и сказал Витя, вспыхнуло чудовищно яркое пламя, за которым тут же последовали тяжелые клубы черного дыма. Лошади отпрянули назад, они давили пытающихся бежать людей, крики которых приглушались высотой, с которой я вел наблюдение.

Однако бомба, брошенная в запряженных в карету лошадей, взорвалась сбоку, убив только возницу. Лошади в панике прорвали кордон казаков и, обезумев, рванули к центру площади. Когда дым и пыль развеялись, я увидел, что казаки пустились вслед за каретой.

Лучшее, что я мог сделать с того места, где я стоял, было швырнуть бомбу именно в них. Мне пришлось повернуться спиной к площади, укрываясь от ветра, загасившего первую спичку. Меня охватила паника, но затем я взял себя в руки, и от второй спички запал зашипел. Я выждал три секунды, размахнулся и метнул бомбу из-под руки, прицелившись как можно точнее в направлении казаков. В них она не попала, но напугала их лошадей, они пятились и вставали на дыбы.

А внизу летели новые бомбы. Красный мяч мальчика взмыл вверх в дыму и, как бы заколебавшись на мгновение, рухнул вниз.

Я увидел Бачуа, он бежал, чтобы остановить карету. Он догнал ее в дальнем конце площади, мне это было хорошо видно, потому что люди отбежали в противоположную сторону. Бачуа метнул бомбу под ноги лошадей. Их сразу же убило взрывом, а самого Бачуа швырнуло оземь. Но другие наши люди увидели, что произошло, и через несколько секунд были на месте. Казаки снова мчались по площади, им удалось обуздать лошадей. Еще одна бомба разбила их

отряд надвое. Наш человек уже бежал изо всех сил с мешком с деньгами, мне на крыше казалось, что он бежит очень медленно. И тут в полной форме царского офицера верхом на лошади с боковой улицы выскочил Камо. Одной рукой стреляя из револьвера, другой он подхватил мешок с деньгами и исчез с площади прежде, чем казаки сумели перегруппироваться и выхватить шашки из ножен.

Деньги оказались в наших руках, все 376 000 рублей. И, к сожалению, нашими они и остались. 752 пятисотрублевые банкноты имели последовательные номера — от АМ 62900 до АМ 63651 — и были практически «мечеными», что и обнаружили Камо и другие, когда позднее попытались использовать их в Европе и были арестованы. Я не мог избавиться от чувства, что на всю эту операцию легла тень Троцкого, с начала и до конца обрекшая «экс» на неудачу.

**Не успела операция по ликвидации Троцкого начаться, как тут же дала осечку.**

Тут не было вины Судоплатова. Все его первые шаги были продуманны. Устроившись в кабинете 735 на Лубянке, Судоплатов немедленно привлек к руководству операцией на месте Леонида Эйтингона. Лучшего выбора нельзя было представить. Первый шаг Судоплатова должен был восполнить отсутствие у него связей и опыта в испаноязычном мире. Во время гражданской войны в Испании Эйтингон успешно руководил партизанскими действиями под именем генерала Котова: для отчаянного смельчака Эйтингона мало было сражаться с врагом на фронте, ему требовалось быть на самом опасном месте — в тылу врага, за линией фронта.

Я знаю Эйтингона, он мне нравится. Человек огромной энергии, любящий пошутить, даже — и особенно — во время выполнения самого рискованного задания. В 1930 году он среди бела дня организовал похищение генерала-эмигранта на парижской улице, что потрясло всю Европу. Он служил также в Китае, в Шанхае и Харбине, и какое-то время вел Гая Берджесса, члена нашей шпионской сети в Кембридже, в Англии.

Согласно его личному делу, Эйтингон почти не пьет. Его хобби — охота, но он не убивает животных. Все удовольствие он получает от их выслеживания. Не интересуется и деньгами.

Родился в 1899 году в бедной семье в Белоруссии. Настоящее имя — Наум Исаакович. Участвовал в революции. В девятнадцать лет перешел в ЧК. Сменил имя, чтобы скрыть еврейское происхождение.

Его фотография в личном деле сопровождалась пометкой о том, что черная шевелюра и пронзительные глаза делают его неотразимым для женщин. Вечные скандалы на романтической почве. У него две или три жены, бесчисленные любовницы и подруги. Но он хороший отец: все дети его обожают.

Эйтингон дал операции свое название: операция «Утка». Я одобрил. Слово «утка» означает дезинформацию, и в седом затылке Троцкого есть что-то утиноподобное.

Мне безразлично, что Эйтингон еврей, но меня беспокоят все эти амурные похождения, особенно после того, как они уже подбросили гаечный ключ в шестеренки операции. Смесь бурных развлечений с политикой чревата бедой.

Мексиканская художница Фрида Кало была среди членов комитета встречи Троцкого, который поднялся на борт парохода, когда он вошел в бухту Тампико в январе 1937 года. Жена Троцкого Наташа боялась сходить на мексиканский берег, то есть туда, где сталинисты контролируют мощную коммунистическую партию Мексики. Но жену Троцкого успокоил вид знакомых лиц среди тех, кто вступил на борт парохода. Броско одетый в твидовые бриджи, с портфелем и стеклом в руках, Троцкий готов был сойти на берег и, как киногерой, приветствовал журналистов и фотографов.

Фрида Кало замужем за другим мексиканским художником, Диего Риверой, с которым я встречался

однажды в Москве в 1928 году. С тощими ногами, большим животом и выпученными глазами, он был похож на лягушку. Я видел, что он делает с меня зарисовки во время заседания, и потом подошел к нему и посмотрел эти наброски. Выбрав тот, что понравился мне больше всего, я его подписал: «Привет мексиканским революционерам. Сталин».

Диего Ривера и Фрида Кало должны были как хозяева принимать Троцкого в Мехико; они уступили Троцким один из своих домов. Судя по длительному периоду выжидания, Троцкий, видимо, решил, что начать сразу спать с женой своего хозяина — признак дурного вкуса.

Фриду, должно быть, привлекала легенда вокруг Троцкого, его энергия, да и Диего дал ей повод для мести: он спал с ее сестрой. Женщин понять можно, но никогда — каким образом они соединяют воедино свои разные роли.

Так или иначе, у Троцкого и Фриды был роман, этакое эмигрантское танго. По-своему печальное, жалкое. Старый козел. Мой ровесник, почти шестьдесят, а бегает как молодой и потерявший голову.

Они ездят верхом в пустыню, забираются на развалины храмов майя. Жена Троцкого знает или догадывается, она несчастна. Троцкий уверяет ее в своей преданности, но не отказывает себе в любовных свиданиях. Пока, во всяком случае. Фрида, должно быть, ограничила свою месть только этим, потому что Ривера ничего не предпринимает, а ведь он знаменит тем, что по малейшему поводу хватает шестизарядный револьвер.

У Троцкого и Риверы есть и другие проблемы. Ривера, толстый мексиканский художник, который спит с сестрой своей жены, должен видеть в Троцком то, что увидел бы любой кинто, — зануду и сноба. Он должен очень скоро надоесть Ривере, вызвать в нем раздражение. И Троцкого должен раздражать Риве-

ра, должен докучать ему, он видит в нем жирного колоритного клоуна, молящегося на революцию и разряжающего в потолок свою пушку. Троцкий должен был недолго продержаться в этом балагане.

Столкновение произошло на мексиканский праздник Дня мертвых; кажется, мексиканцы отмечают его, съедая сделанные из сахара скелеты. И вот Ривера в соответствии с национальной традицией угощает Троцкого красным сахарным черепом с надписью: «Сталин».

То, что Ривера считал шуткой, Троцкий принял за оскорбление. Мексиканцы любят смеяться над смертью, в том числе и над своей собственной, — логично было предположить, что Троцкий должен был это знать от своей возлюбленной. Но в этот момент проявилась его истинная сущность. Он лишен чувства юмора. Конечно, Сталин хочет его убить, это знал даже толстый мексиканский художник. Вопрос в том: умеете ли вы над этим посмеяться, отведав смерть в виде сладкого деликатеса?

Кто знает, может быть, то был самый важный момент в жизни Троцкого — шанс освободиться от смерти, рассмеявшись ей в лицо.

Что бы оно ни значило для Троцкого лично, это событие стало переломным пунктом в его отношениях с Риверой, за ним последовали и другие.

Остальные столкновения носили публичный, политический характер. Ривера поддерживал «буржуев», а организацию Троцкого, Четвертый Интернационал, назвал «тщеславной мечтой» и отверг. Через несколько дней, 11 января 1939 года, Троцкий заявил в мексиканской прессе, что не чувствует больше «моральной солидарности» с Риверой.

Если Ривера считал Троцкого неудачником, то что могла в нем найти такая зажигательная женщина, как Кало? Из авторитетных источников нам известно, что она не раз говорила: «Я ужасно устала от



старика». На день рождения Троцкого она подарила ему свой автопортрет: «На память обо мне», — как способ поставить с помощью искусства на всем точку. По странному совпадению, день рождения Троцкого и годовщина русской революции приходятся на один и тот же день. Итог: постаревший еще на один год, потерявший новую любовь и — соль на раны — не он, а Сталин на трибуне Ленинского Мавзолея приветствует ревушие массы и грохочущие танки.

Поэтому Троцкий тоже был в дурном расположении духа и раздражен, когда наступил 1939 год, вот почему они схлестнулись тогда публично в мексиканской печати. Разрыв между ними принял политическую окраску, а в тех кругах это значило, что он окончателен или по крайней мере длителен, потому что в политике ничего окончательного не бывает.

У Троцкого были веские причины для разрыва с Риверой: избавиться от этого психа, который преподносит ему красный череп с именем, выведенным белым сахаром, — именем врага, который хочет его убить. Освободиться от человека, порвавшего с Четвертым Интернационалом, назвавшего его организацию «тщеславной мечтой», что, говоря политически, означало переход к его врагам, сталинистам. Освободиться от человека, который, если узнает, что он спит с его женой, защитит свою честь револьвером.

Важно тут лишь то, что к началу апреля 1939 года Троцкого больше не радовала гостеприимность Диего Риверы и Фриды Кало в их доме на авенида Лондрес и он снял себе дом на авенида Виена.

Хотя новый дом расположен всего в нескольких шагах от старого, этот переезд отбросил нашу операцию назад, к ее первому этапу. Часть потерянного времени можно быстро наверстать — сфотографировать дом снаружи, оценить пути для нападения и бегства с точки зрения расположения улиц нетрудно. Но

истинная проблема возникла с внутренней планировкой дома и изменением распорядка, особенно режима безопасности. Кроме того, вокруг новой виллы началось строительство, которое могло означать только одно — фортификационные сооружения.

Будут потеряны недели, месяцы. Единственный положительный момент в том, что вся суматоха с упаковкой, переездом и обустройством на новом месте отвлечет Троцкого от главной задачи — прочесывания жизни Сталина в поисках преступления, за которое полагается петля.

**Как будто назло мне, Троцкий продолжает работать, невзирая на неблагоприятные условия переезда и перемещения архива.**

Его внимание по-прежнему приковано к ограблению банка на Эриванской площади. Приятно видеть, что тщеславие Троцкого снова мешает ему разглядеть важные детали. Когда Ленин узнал об этом ограблении, он назвал меня «чудесным грузином». Очевидно, это задело самолюбие Троцкого. Он не хочет и подумать о моей связи с Лениным через преступление. Это побуждает его принизить мою роль в ограблении, заключив, что Сталин «не входил в непосредственный контакт с членами дружины, не инструктировал их, не был, следовательно, организатором дела в подлинном смысле слова, не говоря уже о прямом участии».

Похоже, он не замечает, что это противоречит тому, что он писал раньше о моем посещении Ленина в Берлине и Лондоне с явной целью обсуждения экспроприаций. Впрочем, меня это вполне устраивает.

Теперь Троцкому предстоит отыскать мой след в лабиринте тюрем, и если ему вдруг не выпадет удача, он не найдет ничего для себя интересного. В течение десяти лет между ограблением банка в 1907 году и

революцией 1917 года меня арестовывали пять раз и пять раз ссылали в Сибирь, в последний раз — за Полярный круг. Я сам мало что помню об этом периоде. Одна тюрьма сливается с другой, а снег есть снег.

В большом городе вокруг полно незнакомых людей, но постоянно натыкаешься на кого-то знакомого. То же самое в тюрьме.

Я натолкнулся на Бенно-фальшивомонетчика из моей первой тюремной камеры, того самого, кто сбил Сашу с ног и вклеил ему несколько хороших затрешин. Мы встретились с ним так, будто не минули шесть или семь лет.

«Скажи мне, — спросил он, — Эриванская площадь твоих рук дело?»

«Этого не вычислила даже полиция».

«Беда с этими серийными номерами».

«Просто ужас».

«Если уж говорить о невезении, посмотри», — сказал Бенно, подняв вверх покрытый шрамами указательный палец правой руки.

«Что случилось?»

«И не спрашивай».

«Я все же спрошу».

«Сам не знаю, как это случилось, но, занимаясь гравировкой, я пролил кислоту».

«Помню, бомбовых дел мастер говорил мне, что главное в его работе — не ошибаться».

«Я ошибся. Теперь мне не подделать даже трамвайный билет».

«Как же добываешь хлеб насущный?»

«Палец еще сгибается», — сказал Бенно, сгибая и разгибая палец так, как нажимают на спусковой крючок.

«Банки?»

«Банки. Магазины. Люди».

«Ограбление ювелирного магазина Голденхоф?»

«Этого не вычислила даже полиция».

Мы оба расхохотались.

Мы встречались с Бенно несколько раз до того, как меня отправили в ссылку. Теперь он относился ко мне с большим уважением, даже почтением. Теперь он знал, что революционеры не только говоруны, но могут делать то, что, как он знал по личному опыту, легким делом не назовешь. Он отнесся ко мне с еще большим уважением, когда я рассказал ему о поездке в Берлин и Лондон для встречи с Лениным, который, объяснил я Бенно, в один прекрасный день сбросит царя с трона. Он не мог в это поверить: «Банк — одно дело, царь — совершенно другое».

Возможно, Бенно проникся уважением к революционерам вообще и ко мне в частности, но наши идеи его нисколько не интересовали, и он считал, что у нас нет никаких шансов. На самом деле, думаю, Бенно интересовала работа. С его точки зрения, мы были заняты одним делом. За нами — крупнейшее в истории банковское ограбление. Если мы сделали это один раз, то сделаем еще раз. Кто знает, может быть, будет такое время, когда нам пригодится надежный профессионал. Во всяком случае, он дал мне адрес, по которому его можно найти в Петербурге, Москве и Тифлисе. И был достаточно умен, не попросив того же у меня.

Вскоре после встречи с Бенно меня перевели в другую тюрьму, где меня вызвали к еще одному старому знакомому, капитану Антонову.

«Просматриваю список новых заключенных и что же я вижу! Джугашвили Иосиф Виссарионович».

«Вот так прямо и увидели?»

«Это моя работа».

«У каждого своя».

«Согласно нашему досье, вы бросили поэзию и занялись журналистикой»,

«Больше платят».

«Но не столько, сколько приносит ограбление банков».

«Оно не имеет ко мне отношения».

Антонов улыбнулся. «Мы уже работали вместе и поэтому можем сразу перейти к делу. Информация о местонахождении подпольной типографии самым чудесным образом отразилась на моей карьере. Вся бумажная волокита о моем переводе на постоянную работу в Петербург завершается, не могу даже выразить, как я счастлив выбраться из этой мокроты, духоты и пыли. Но я слишком долго проработал в бюрократической системе, чтобы не знать: ничто не окончательно, пока не свершилось. Всегда есть другие претенденты, другие покровители. Да к тому же, знаете ли, это Россия. Что здесь делается нормально?»

Я улыбнулся. «В этом истинная причина того, что революция победит».

«Может быть, — сказал Антонов. — А может быть, и нет. Но кое-что пока работает. Например, мы. Вот тут у меня донесение про вас в Лондоне. В 1907 году, верно? Да, вот оно, 1907 года. А перед этим встреча с Лениным в Берлине. Вы теперь возвращаетесь в высоких сферах».

«Вы всегда предсказывали мне большое будущее».

«Знаете историю про Наполеона? Выиграв какое-то сражение в Италии, он вдруг понял, что ему может принадлежать все. Что бы это *всё* ни значило».

«Всё», — повторил я, скорее, чтобы прочувствовать вкус слова, чем для чего-то еще.

«И что же теперь значит это ваше «всё?»

«Хороший вопрос».

«Хороший вопрос заслуживает хорошего ответа».

«Простите. Не могу ответить. Нелегальны даже мои фантазии».

«Что ж, мы знаем из некоторых ваших разговоров, и, должен заметить, с вашей стороны вести их было легкомысленно, вы считаете, что здесь, в России, должен быть некий Центральный Комитет, и вы, конечно же, хотите быть его членом, а то и лидером».

«Я говорил такое?»

«Если и не говорили, то, согласитесь, идея неплохая».

«Неплохая».

«Поэтому если эта милая идея верна, то в наших позициях образуется определенная симметрия. Каждый из нас на пороге достижения чего-то очень важного. Если мне удастся раскрыть одно дельце, то бумаги убыстрят свой ход в Санкт-Петербурге».

«А взамен?»

«Чем я могу вам помочь?»

«Свободой».

«Это значит просить слишком многого. Все-таки вы наш заклятый враг. То есть, я хочу сказать, вы на их стороне».

«Я знаю, на чьей я стороне».

«И я знаю. На стороне Джугашвили Иосифа Виссарионовича»

«Вы знаете, что мне нужно. Центральный Комитет. Здесь, в России».

«Это можно решить только в Петербурге. Помогите мне оказаться там».

«Вы настолько ненавидите юг, что, попав туда, просто выкинете все из головы».

«Я не такой человек».

«А я не такой, чтобы покупать kota в мешке».

«В прошлый раз вы мне поверили».

«В прошлый раз мне ничего не было нужно. На сей раз нужно, и мне долго придется этого ждать. Так что, думаю, у нас ничего не выйдет».

«Не торопитесь. Я сообщу вам кое-что, над чем следует подумать. Предположим, дело не просто в том, что мы знаем о вашем пребывании в Лондоне в 1907 году и что вы встречались с Лениным в Берлине незадолго перед ограблением на Эриванской площади; предположим, что это мы вам *позволили* поехать в Лондон и *позволили* поехать в Берлин».

«С чего это такая щедрость?»

«Предположим, мы решили, что вы всегда действуете как разлагающий элемент. Предположим, мы решили, что это в наших интересах сделать так, чтобы враги были разобщены. Предположим, мы позволили вам отправиться в путешествие именно потому, что видели в вас активного агента разъединения».

«Легко сказать, что вы позволили человеку что-то сделать, когда все в прошлом и ничего проверить нельзя».

«Есть документы».

«Вы в любой момент можете изготовить любой документ».

«Я не имею в виду наши официальные документы. Вот, посмотрите на эту газетную вырезку из лондонской «Дейли экспресс» от 10 мая 1907 года: В ней даже названо имя нашего агента, который фланировал у церкви Братства: «Неустанным наблюдателем был господин Севриев из русской тайной полиции...»

«Должно быть, это не лучший ваш агент, коль скоро газеты выяснили его фамилию».

«Быть может, на то были свои причины. Главное в том, что мы знали, кто входил в церковь и кто из нее выходил. И все, кто приехал туда из России, находились там, потому что мы хотели, чтобы они все собрались под одной крышей, где мы могли за ними наблюдать. Кстати, если вам кажется, что в самой церкви наших людей не было, то вы нас недооцениваете».

«В каждой камере есть своя подсадная утка».

«Так верите вы мне или нет?»

«Нет, потому что вы позволили поехать всем, не предоставив никому особых льгот».

Я его переиграл, и какое-то время он молчал. Я сбил его с курса. И поделом. Но мне от этого легче не стало. Да и хотел ли он облегчить мое положение? Он хотел только одного — вернуться в Петербург.

Потом он улыбнулся.

«Вы правы. Я не могу этого доказать. Разве что от противного. Я не могу доказать, что мы ослабили



веревку, но могу в любой момент ее натянуть. Она может стать очень и очень тугой».

«Антонов, я оказал услугу вам, вы оказали услугу мне. Мы квиты».

«Люди никогда не бывают квиты».

«На сей раз вы хотите сказать — либо помогите Антонову получить перевод в Петербург, либо...»

«Либо будете гнить в краю полярных медведей, пока другие горячие головы вроде Свердлова или Троцкого обоснуются рядышком с Лениным. Так что вы выбираете, Джугашвили?»

Я так никогда и не понял, почему я, не колеблясь ни секунды, посмотрел прямо на него и сказал:

«Ссылку».

И ссылку я получил. В сентябре 1908 года, вскоре после разговора с Антоновым, я был сослан в Сольвычегодск. Летом 1909 года я бежал и был на свободе до апреля 1910 года, когда меня взяли в Баку и отправили обратно в Сольвычегодск отбывать свой срок до конца. В сентябре 1911 года меня снова арестовали, на сей раз в Санкт-Петербурге. В декабре того же года я был выслан в Вологду. Три ареста, три ссылки, они не спускали с меня глаз.

Но я так и не понял их игры. Сидел ли Антонов на моем горбу? Или передал кому-то еще? И почему меня арестовывали так быстро, тогда как в других случаях давали погулять почти год? Играли ли они со мной в кошки-мышки, или мне просто удавалось от них улизнуть?

\* \* \*

Ссылка либо убивает, либо излечивает.

В тот момент, когда за спиной захлопывается дверь камеры, вас автоматически охватывает паника; любая собака ненавидит цепь. Но паника ссылки совсем иная. Такое чувство, что жизнь продолжается

где-то в другом месте, а ваша проходит мимо. Остается только бескрайнее сибирское небо, которое пригибает к земле — как вошь, очутившуюся между ногтями крестьянина.

Некоторые ссыльные предаются отчаянию и сходят с ума. Но большинство сопротивляется с помощью яростной целенаправленной деятельности — систематически прорабатывая Маркса, которого толком раньше и не знали, или занимаясь этнографическим изучением местного населения.

Правительство выделяло нам несколько рублей на постой сразу нескольким ссыльным в избе какого-нибудь сибирского рыбака, — но если не охотиться и не ловить рыбу, то легко умрешь от голода или болезней, вызванных недоеданием. Правило номер один в Сибири: пережить сегодняшний день.

Я провел сотни часов, занимаясь подледным ловом рыбы или ставя капканы для зверя в лесу. У меня неплохо получалось. Хорошую рыбину можно растянуть на три дня, и если есть достаточно капканов, то в один из них может попасть заяц, или, если повезет, лисица, или другой зверь, за чью шкуру дадут несколько рублей. Правда, на них много не купишь.

В избе, где я жил, был еще один ссыльный — бородатый еврей, которому все время хотелось говорить. Он разговаривал, чтобы не сойти с ума. Я сам сходил с ума, но со своим безумием я боролся молчанием. Поэтому я притворялся, что читаю, попивая жидкий чай и куря самокрутки, набитые сосновыми иголками, — все лучше, чем ничего. Вздыхая, обижаясь, мой сосед продолжал говорить, даже когда мыл ноги. Если что-то я и запомню от ссылки, так это запах невымытых ног.

В 1911 году, примерно в те дни, когда мне исполнилось 32, я чуть не покончил с собой. Моя жена скончалась от тифа, когда я был на свободе. Троцкий цитирует друга моего детства, который описы-

вает, как, когда процессия подошла к воротам кладбища, я остановился, положил руку на сердце и сказал: «Это существо смягчало мое каменное сердце; она умерла, и вместе с ней — последние теплые чувства к людям... здесь внутри все так опустошено, так непередаваемо пусто!»

На похоронах я всегда отличался красноречием, но это слишком даже для меня. Хотя, конечно, дело не в том, что я не мог сказать или иметь в виду чего-то подобного.

Позже я понял, что, даже умирая, Екатерина оказала мне огромную услугу. Если бы она прожила дольше и у нас было больше детей — за год до смерти она родила мне сына Якова, — я никогда бы не поднялся выше комиссара по делам национальностей, поста, на который меня определил Ленин после революции. Я никогда не стал бы чем-то большим, чем усатым инородцем, появляющимся на заднем плане фотографий членов политбюро.

Но тогда я был в отчаянии. Одиночество, Сибирь и тоска сложились в убийственную комбинацию. Я ловил рыбу в проруби. Последний сумеречный свет готов был внезапно смениться сибирской тьмой. Я только что выпотрошил рыбу возле проруби, внутренности ее ярко краснели на льду. Я смотрел на чешуйчатый, совершеннейший покров рыбы, столь отличный от ее внутренностей. Такое же тело и у меня — красные внутренности и недоступные моему глазу коричневые органы, что поддерживали жизнь. У меня был хороший финский нож. Лезвие-пила. Я снял рукавицы и провел большим пальцем по лезвию, настолько холодному, что к нему сразу же примерзала кожа. Я все рассчитал. Одно быстрое движение по запястью, затем еще минута-другая, пока вместе с кровью меня не покинет сознание. Это, должно быть, ужасные минуты, но всего лишь минуты.

Я приставил кончик ножа к вене на запястье. Кожа испуганно подалась. Тело не хотело умирать. Оно как

собака. У него свои желания, не зависящие от вашей воли. Поэтому вопрос только один: где сосредоточена воля — в теле или в ноже?

И вдруг среди бескрайних сибирских льдов и сумерек я разразился хохотом. Какая идиотская педантичность! Я хотел не умирать, а избавиться от этого слабого, ноющего существа, что сидит сейчас возле проруби.

Мне нужно было обрести новое «я», новое имя. Однажды я уже трансформировался, приняв имя Кобы, и медленно вжился в него. Ко времени последней ссылки у меня был десяток псевдонимов, простых вроде Иванович и более изощренных вроде Оганесс Вартанович Тотомянц. Ни один из них не отвечал сути.

Мне нужно самому придумать себе новое имя, не брать его из литературы. Мое родное имя Джугашвили происходит от грузинского слова *джуга*, что значит «железо». Я попробовал Джугин, но оно слишком похоже на старое и звучит не вполне по-русски. Но каление превращает железо в сталь. Добавить привычное русское *ин*, созвучное Ленину и Дарвину. Сталин.

И тогда, как в русской сказке, как только герой узнал свое истинное имя, все вокруг точно во волшебству изменилось к лучшему. В январе 1912 года до меня дошла весть о том, что Ленин сформировал свою партию под тем же названием, что и его фракция, — большевиков, и кооптировал меня в Центральный Комитет. Ограбление на Эриванской площади увенчалось наградой. Я был в восторге. Смушало только одно: что к этому каким-то образом приложил руку капитан Антонов, желая внедрить меня, «разобщающий элемент», в сердце партии. Но я не позволил этой мысли отравить мне радость. Как член Центрального Комитета я счел своим долгом немедленно бежать.

После сибирских снегов, бревен и вонючих ног от Санкт-Петербурга кружилась голова. Запах кофе и

навоза, мчащиеся сани с закутанными в меха молодыми женщинами; мне даже казалось, что их заветный треугольник в низу живота похож на соболиный мех. В приподнятом состоянии духа я остановился в семье революционных рабочих Аллилуевых. Они суетились вокруг меня, кормили горячим супом, предоставили чистую постель, где я засыпал под звуки детских голосов в соседней комнате. Потом я женюсь на одной из их дочерей, Наде, в то время — одиннадцатилетней девочке с лентой в волосах, но уже смотрящей на меня обожающими глазами.

Мне была поручена Лениным важнейшая задача — наладить в Петербурге выпуск легальной газеты «Правда». После многих лет гнета и застоя настало время энергичного подъема. Рабочие Ленских золотых приисков в Сибири объявили забастовку и сражались с полицией. Было сразу убито более ста человек. Кровавое пролитие оказало возбуждающее действие. Мы знали, что царь всегда готов убить сотню рабочих, но уже давно сотня рабочих не была готова отдать свои жизни.

Я был арестован в день выхода первого номера «Правды», в апреле 1912 года. Опять сосланный, я снова бежал и в октябре снова оказался на петербургских улицах. Я погрузился в работу «Правды», но очень скоро оправдал данную мне Антоновым характеристику «разобщающего элемента». Я не мог согласиться с позицией редакции, что приводило Ленина в бешенство, я почему-то всегда медлил с переводом денег за его статьи. В своих письмах он высказывался без обиняков. Поэтому я нервничал, когда он вызвал меня на заседание Центрального Комитета в Краков.

Получив надежные фальшивые документы от партийца, ответственного за это дело — мы в шутку называли его министром иностранных дел, — я не встретил трудностей при пересечении границы. Единственная проблема возникла в ресторане на польской

станции, где мне предстояло сделать пересадку. Я был голоден как волк. Официанты в двубортных белых пиджаках были больше заняты сплетнями на своем шипящем языке, чем обслуживанием посетителей. Наконец, после долгого махания рукой, мне удалось подозвать одного из них к столику. Показав на часы, я по-русски произнес слово «суп», уверенный, что он поймет. Он притворился непонимающим, затем притворился, что наконец понял: «А, зупа, зупа», — и исчез. Я слышал стук ножей, шипение пара и их неприятный язык. Он принес котлеты на один из соседних столиков, капусту — на другой. Теперь он делал вид, что чудовищно занят, избегая моего взгляда. Сколько нужно времени, чтобы приготовить тарелку супа? Ровно столько, сколько осталось до отправления моего поезда. Внезапно все посетители повскакали со своих мест, что-то кусая на ходу, швыряя деньги на стол. Как только прозвучал последний гудок, официант появился в дверях кухни, осторожно неся тарелку супа.

С поддельным ужасом, а на самом деле с явным торжеством он наблюдал, как я швырнул тарелку на пол, крикнув: «К такой-то матери тебя, твою Польшу и твой суп!»

Ленин не мог сдержать смеха, когда я рассказал ему эту историю. «Вот именно, — говорил он с влажными от смеха глазами, — никогда не заказывайте по-русски в польском ресторане. Никогда».

Теперь мне настолько везло, что даже этот неприятный инцидент пошел мне на пользу, поскольку помог сломать лед в отношениях с Лениным и дал ему повод нагрузить меня новым поручением.

«Смотрите, — сказал он, — все империи многонациональны. Британская, Австро-Венгерская, Российская. В одной из своих статей я даже назвал Россию «тюрьмой народов». Я хочу, чтобы вы поехали в Вену и написали статью о том, что будет со всеми

этими народами — латышами, армянами, грузинами, узбеками, евреями и так далее, — когда мы освободим их из этой тюрьмы».

Это именно то, что импонировало мне в Ленине больше всего: он не сомневался в победе.

Я был горд поручением, но я не был глуп. Я понимал, что для Ленина в этом был способ убрать меня из «Правды».

На заседании Центрального Комитета я говорил мало и просто смотрел, как Ленин руководит людьми. Снова я увидел, что любая организация направляется несколькими людьми. Оказавшись в нужной организации, можно руководить всей Россией.

Странное дело, из всех моих товарищей по Центральному Комитету мне больше всего понравился поляк Роман Малиновский, который когда-то участвовал в ограблениях и показал себя блестящим рабочим организатором. Высказывались предположения, позже подтвердившиеся, что Малиновский — полицейский шпион, но в то время Ленин с негодованием это отметал. Упомянув товарища по имени Любов, известного своей никчемностью, Ленин говорил: «Интересно, что таких предположений никогда не возникает относительно товарищей вроде Любова, но только о самых способных и полезных».

В Вене я второй раз встретился с Троцким. Когда у меня кончился чай, я зашел в соседнюю квартиру в доме рабочих-социалистов, где я остановился. Я удивился, увидев там Троцкого, которого я за несколько недель до этого назвал в печати «шумным чемпионом с фальшивыми мускулами». Не знаю, читал ли он эти статьи, но он буквально отпрянул, увидев меня. Троцкий пишет, что не помнит нашей первой встречи в Лондоне, но помнит Вену и «мои враждебные желтые глаза». Пять лет прошло с того момента, когда в моем мозгу впервые возникла мысль убить Троцкого — это было в лаборатории у Вити; но при виде его она промелькнула снова.

Закончив статью о национальных меньшинствах — у меня получилось сорок страниц, — я вернулся в Петербург в тот момент, когда «Правда» готовилась провести концерт с целью сбора средств и прием в честь первой годовщины газеты. Я спросил Малиновского, безопасно ли мне, по его мнению, присутствовать на этих мероприятиях. Да, конечно, сказал он, но соблюдайте крайнюю осторожность.

Малиновский набросал мне план зала, где будет прием, указав выходы на улицу, включая запасные.

Я решил рискнуть, пока мне везло. Концерт я пропустил и появился на приеме, когда он был уже в самом разгаре. И вот, когда я сидел за столиком в углу спиной к залу и пил вино с товарищами, меня арестовали.

«Джугашвили, — услышал я. — Пройдемте с нами».

«Я не Джугашвили, я Сталин».

«Расскажите это своей бабушке».

Одно видение преследовало меня всю дорогу в Сибирь — силуэт, мелькнувший в тусклом свете газового фонаря, когда полиция выводила меня из зала. Не могу быть вполне уверен, но что-то в линии плеч подсказало мне, что капитан Антонов осуществил свою давнюю мечту, перевелся в Петербург и на месте лично наблюдал в ту минуту за тем, как уводят его старого подведомственного, Джугашвили Иосифа Виссарионовича.



# 25

**Эйтингон доказал, что я неправ: сексуальные эскапады и политика иногда очень даже хорошо уживаются друг с другом.**

Во время гражданской войны в Испании Эйтингон нашел время для любовной связи с женщиной по имени Каридад Меркадер, которую он завербовал задолго до начала операции «Утка». Согласно ее досье, Каридад родилась 31 марта 1892 года на Кубе в богатой аристократической семье. Получив образование в католических школах Франции и в Барселоне, она рано проявила склонность к религии и мистицизму. Недолго служила в качестве сестры-послушницы в Ордене босоногих кармелиток. Вышла замуж в девятнадцать лет за человека консервативных убеждений, родила троих сыновей.

Когда Каридад было за тридцать, она, женщина фантастической жизненной силы, наскучив своим существованием в качестве жены, матери и светской дамы, занялась живописью, окунувшись в богему. Искусство приводит к сексу, секс — к радикальной политике. Брак распался, она дважды пыталась покончить с собой.

Вступила в коммунистическую партию, в 1936 году переехала в Мексику. Высокая, яркая, с седыми

волосами, в синем рабочем комбинезоне, она имеет огромный успех, выступая перед многочисленной публикой в мексиканской палате депутатов и на главной площади Мехико. Она говорит, что перед миром стоит выбор между коммунизмом и фашизмом, что международное коммунистическое движение должно прийти на помощь Испанской Республике. Она завязывает обширные связи в Мексике, и теперь Эйтингон имеет возможность их использовать.

Каридад уезжает в Испанию сражаться на фронтах гражданской войны. Она руководит успешной атакой на пулеметное гнездо в Барселоне и сама казнит нескольких троцкистов. Все три ее сына последовали за матерью в Испанию и тоже участвуют в войне.

В принципе я доволен. Судоплатов сделал правильный выбор, когда привлек Эйтингона, который уже внедрил Каридад на нужное место. Хотя за такой героизм медали не положены, Эйтингон возобновил с ней любовную связь, хотя ей уже далеко за сорок. Но Эйтингону действительно нужно было другое, и он это получил: Каридад завербовала своего сына Рамона, неотразимого, как киногерой, красавца. Рамон говорит по-испански, по-французски, по-английски. По специальности шеф-повар в «Ритце», лучшем отеле Барселоны. Отлично разбирается в кушаньях, вине, эксперт по разделке мяса. Отважно сражался во время гражданской войны в Испании. Когда его брат Пабло, тоже боец, нарушил правила, расстреляв троцкистов среди белого дня, а не тайком, и был наказан отправкой на передовую, что было равносильно смертному приговору, ни Рамон, ни его мать и пальцем не пошевелили.

Эйтингон, отлично подмечавший такие вещи, заметил, что многие молодые женщины, работавшие у Троцкого в качестве секретарей, курьеров, архи-

вистов, одиноки и не очень хороши собой. Но и таким женщинам не чуждо ничто человеческое, они тоже хотят любви. Одно дело — служить старому герою вроде Троцкого, и совершенно другое — потерять голову, увидев потрясающего молодого человека вроде Рамона Меркадера с его тонкими аристократическими чертами лица, красивыми волосами, всегда ухоженными и блестящими.

Наконец был выбран объект — Сильвия Агелов, американская еврейка из Бруклина, что в Нью-Йорке. Она часто посещала Троцкого в Мексике, служила ему курьером. В свои двадцать восемь лет она была тремя годами старше Рамона. Простецкая, очки с толстыми стеклами, непривлекательная прическа. Старая дева, ждущая своего принца.

Чтобы устроить «случайную» встречу Сильвии и Рамона — конечно, в Париже, — потребовались месяцы. Она поехала туда в июне 1938 года на конференцию троцкистского Четвертого Интернационала. Одна из привлекательных сторон Рамона — его аполитичность. Его интересовало и заботило только одно, и в этом он знал толк, — где поесть, что выбрать из меню и куда потом пойти, чтобы хорошо провести ночь. Естественно, сначала она задавала себе вопрос: что он нашел во мне? Но, разумеется, с какой стати будет женщина так плохо думать о себе самой? И разве все определяет внешность? Да и как противостоять этому головокружительному парижскому счастью, да еще весной, если уж до конца держаться шаблона.

Короче, она попала на крючок.

Благодаря дальновидности Эйтинггона мы получили в окружении Троцкого своего человека, который, строго говоря, хотя и не был нашим агентом, но помимо своей воли оказался связан с нашей сетью. Сегодня это важнее, чем когда-либо раньше.

Троцкий недавно поменял место жительства, и, за исключением уборщицы, у нас нет сейчас в этом доме никого, кто снабжал бы нас информацией. Наш последний опытный агент Мария де ла Сьерра (кодовое имя Африка), секретарша, была отозвана. Ее безопасность была скомпрометирована неожиданным бегством нашего бывшего главы секретных операций в Испании Александра Орлова.

Как и Эйтингон, Орлов отлично действовал за линией фронта в Испании и руководил террористическими акциями против троцкистов. Орлов отвечал также за отправку в Москву республиканского золота более чем на 500 миллионов долларов. Как и Эйтингон, Орлов вел сложную личную жизнь: молодая женщина, сама сотрудница органов безопасности, застрелилась у входа на Лубянку, когда Орлов ее бросил.

Как и Эйтингон, Орлов был еврей, его настоящее имя Фельдбейн. Каким образом столько евреев оказалось буквально повсюду? Ривера и Кало, оба полуевреи, Эйтингон, Орлов, Агелоф, не говоря уже о самом Троцком. Если бы вдруг всюду, куда ни бросишь взгляд, оказались эстонцы, разве люди не задавали вопроса: откуда, черт возьми, они все повылезали?

Так или иначе, опасаясь (безосновательно), что его собираются подвергнуть чистке, Орлов стал перебежчиком. Он написал мне длинное письмо, угрожая раскрыть среди прочего тот факт, что Советская Россия помогала Испании не бескорыстно, как это объявлялось, но захватила на полмиллиарда долларов испанского золота. Все соответствующие материалы лежат в швейцарском банке и будут обнародованы, если что-нибудь случится с ним или с его семьей. Ничего не случилось, и ничего не случится.

Неясно, что точно было известно Орлову об операции по уничтожению Троцкого. Он знал доста-

точно, чтобы предупредить Троцкого об Этьенне, хотя и не знал его имени. Троцкий, правда, над этим только посмеялся, расценив как провокацию. Однако и этого было достаточно, чтобы предупредить Троцкого, что в операции против него будут использованы испанские связи. Орлов скорее всего знал про Марию де ла Сьерра, поэтому и пришлось ее отозвать.

Эйтинггон задействовал операцию в двух направлениях. Прежде всего перед Рамоном была поставлена задача проникнуть в окружение Троцкого с помощью любовного романа с Сильвией Агелоф и получить информацию о жизни внутри его дома.

Второй группе предстояло нанести удар как таковой. Эту команду возглавил Давид Сикейрос, художник, сталинист, лидер мексиканского профсоюза шахтеров, ветеран гражданской войны в Испании; я знаю его лично. Смелость Сикейроса по-испански безумна и не столь уж отличается от русской смелости, в которой немало дерзости и бравады.

В июне 1939 года Судоплатов и Эйтинггон выехали по маршруту Москва—Одесса—Афины—Марсель—Париж, где они встретились с обеими группами по отдельности. Одна не подозревает о существовании другой, в таких делах это обычный порядок.

Судоплатов решил, что Эйтинггон должен в течение месяца поднатаскать Каридад и Рамона Меркадера в шпионском деле — операционные приемы, обнаружение слежки, изменение внешности. Рамон был также подвергнут целой серии испытаний, которые он блестяще выдержал. У него фотографическая память, отличная реакция, острый слух. Поставленный в начале прочерченной мелом линии, он с завязанными глазами может пройти по этой линии шесть метров. Он может определить на глаз разницу в  $\frac{3}{10}$  миллиметра и на ощупь —  $\frac{3}{100}$ . Психологически зависим от матери, физически на нее похож.

Натаскивание и тренировка — дело хорошее, но это требует времени. А времени мало. Все державы проводят последний зондаж. Согласно перехваченным шифrogramмам, французский посол в Германии Кулондр сказал Гитлеру, что длительная война может привести к хаосу и непредвиденным последствиям. «Вы думаете о себе как о победителях... но учли ли вы другую возможность, что победителем выйдет Троцкий?» Гитлер подпрыгнул со стула, «как будто получил удар под дых, и закричал».

Мне это чувство знакомо.

**Согласно нашей последней информации, Троцкий установил у себя в новой резиденции особо жесткий и неизменный распорядок дня.**

Он встает в 7.15 и час возится со своими кроликами и цыплятами.

После этого он пишет и диктует до второго завтрака, который поглощает быстро и без удовольствия, просто для заправки. Далее он тридцать минут отдыхает. Затем принимает посетителей, снова работает и перед обедом возится в саду. После обеда немедленно возвращается к работе.

Кроме случайных визитов к дантисту и прогулок за кактусами, Троцкий проводит время в доме, укрепления вокруг которого все время совершенствуются. Троцкий наиболее уязвим в те часы, что он проводит в саду или кормит кроликов. Но мексиканская полиция установила наблюдательный пункт прямо около его дома, что делает нападение в дневное время невозможным.

Кроме того, работа заставляет его почти все время проводить в доме. Он поддерживает переписку на нескольких языках, готовит заявления для мировой печати о приближающейся войне, пишет статьи для дополнительного заработка и уделяет драгоценные

часы беседам с троцкистами из разных стран, совершающими паломничество для встречи с великим человеком.

Он жалуется им, что в последнее время не может уделить достаточно внимания работе над биографией Сталина. Но теперь он снова пишет, и Этьенн направил ему новые материалы о последних четырех годах моей ссылки за Полярным кругом, в том числе воспоминания товарища по ссылке, который говорит обо мне: «Сталин... ушел в себя. Поглощенный рыбалкой и охотой, он жил в почти полном одиночестве... Он не испытывал потребности в контактах с людьми».

Это точное описание моего поведения, но не объяснение. Я испытывал потребность в человеческом общении, но намеренно старался погасить ее в себе.

Сибирь — крупнейший университет скуки. Дни бесконечны, одинаковы, пусты. Ни цвета, ни разнообразия, ни движения. Ненавидеть скуку — нормальная человеческая черта. И по этой причине я учился ее любить. И не только по этой причине. Я уже раньше заметил, как скучна комитетская работа, все эти собрания, как они нескончаемы. Многие люди их не выносят. Они уступают и соглашаются на многое, лишь бы избавиться от них. Способность терпеть все большие дозы скуки — великий секрет моего успеха. После революции я брал на себя скучнейшие обязанности вроде секретаря Организационного бюро, сокращенно Оргбюро, который занимался кадрами. Для людей типа Троцкого эта работа убийственна. Кто согласится сидеть в холодной комнате с коричневыми стенами и сортировать формуляры личных дел? Я. Потому что я знал: повышение каждого партийца приносило мне союзника, голос в мою пользу. Я взял за правило продвигать молодежь — грубых, честолюбивых, мстительных молодых людей, которые резко отличались от бородатых старых книжников-больше-



виков. Троцкий не выносил бескультурного общества молодежи. Он даже признавался в этом. Когда его спросили, как могло случиться, что он, Лев Троцкий, гений, полководец и блестящий оратор, уступил власть такому человеку, как Сталин, он отвечал: это произошло потому, что он терпеть не мог общаться с новой властной элитой. «Я не могу повергать себя в такую скуку».

В последующие века историки будут писать тома, анализируя, почему Троцкий потерял власть после смерти Ленина и уступил ее Сталину. Они найдут десятки, сотни причин, но в действительности была только одна причина — Троцкий не выносил скуку, а Сталин ее любил.

В ссылке люди борются со скукой литературной работой, собираясь вместе, разговаривая, попивая чай, споря между собой, борются всеми средствами, только не еще большей тоской одиночества. Я выбрал одиночество, потому что, как монах, хотел изгнать из себя последние капли привязанности, последние следы чувств к чему-либо, кроме моего нового идеала свободы, моего нового имени. Сталин — таков был мой способ преодоления человечности.

Но это не были сплошная тоска и одиночество. Была Катя.

Все в Кате — как она двигалась, как говорила, как смотрела, — все свидетельствовало: в ней было то, что мне требовалось. Я слышал, что ее мужа призывали в царскую армию, это значило, что он, если ему повезет, вернется домой лет через десять. Как и все неряхи, Катя была ленива. Она всегда находила, с кем сожительствовать: одинокого ссыльного, рыбака, потерявшего жену, сезонного охотника. Она была тут как тут.

Судя по внешности, мать ее была полукровка. Несколько поколений тому назад светловолосый казак завалил местную азиатку, в результате чего у Кати

было широкое плоское лицо, косые серо-голубые глаза и густые грязные светлые волосы.

Мы сталкивались несколько раз на улице, что никакой улицей не было, так, пространство между двух рядов изб. Когда мы разговорились, стоял конец декабря.

«Становится холодно», — сказал я.

«Я знаю теплое место», — ответила она, улыбувшись.

«Где ж это?»

«Приходи ко мне, покажу».

«Хорошо, — сказал я, — встретим вместе Новый год».

«Что принесешь?»

«А чего бы ты хотела?»

«Водки, мяса, хлеба».

Однако, когда я появился у ее двери, она выглядела удивленной, словно забыла, что пригласила меня, а может быть, то был ее способ кокетства. Глаза ее переметнулись на сверток в моей руке, и она посторонилась, пропуская меня. Деревянный стол и два стула, лежанка на русской печи, на стене приспособления для охоты. Она взяла сверток, положила его на стол, развернула. Фунт хлеба, хороший шмат мяса и литр домашнего самогона в бутылке с тряпичной пробкой. Она удовлетворенно кивнула.

Поджарила мясо, нарезала хлеб. Я разлил водку в жестяные кружки.

«Пусть четырнадцатый будет для тебя удачным годом», — сказал я.

«И для тебя», — сказала она, подняв кружку, чтобы чокнуться со мной.

Она залпом выпила содержимое кружки. Хороший знак.

Какое-то время мы оба молчали, прислушиваясь к первому эффекту водки, жжению в пищеводе, электрическому удару в позвоночник.

«Почему ты здесь?» — спросила она.

«Не повезло. А ты?»

«То же самое».

Мы закусывали мясом, положенным между ломтями хлеба, после каждого глотка. Когда бутылка опустела, я сунул ее в карман пальто. (Дело в том, что я оставил за нее залог.) Заметив это, она улыбнулась: ей понравилось, что я так сделал, — наверное, потому, что это было так неромантично.

«Холодно?» — спросила она.

«Немножко».

«Я тебя отопрею».

Она подошла к постели, расстеленной на печке, села. Подняв колени, буднично задрала юбку, так же она разворачивала мой сверток. Посмотрела на меня. Я кивнул. Ничего говорить не надо было.

Зиму я провел с ней. Наступила сибирская весна, как всегда поздняя, лед на реке вскрывался со звуком артиллерийской канонады. Земля оттаяла, превратившись в грязь, появился гнус. Я перестал ходить к Кате. Погода была неподходящая. К тому же я уже наизусть знал все ее движения и стоны. Желание стало мне ненавистно.

Но наш новогодний тост оказался пророческим: 1914-й, в конце концов, оказался неплохим. Глупый царь Николай снова отличился — в августе он впутался в новую войну, на этот раз с Германией. Прошлая война с Японией привела к революции пятого года. Если он проиграет эту, более крупную, то дело кончится более крупной революцией. Появилась надежда — то, ради чего стоило жить. Для меня каждая российская победа была поражением и каждое поражение — победой.

Но самое неприятное в надежде — ждать, когда она сбудется. Сибирь стала тюрьмой вдвойне.

Но я выдержал. Новости с каждым днем становились благоприятнее. Два миллиона русских погибли

на фронте, три миллиона было ранено или попало в плен. Оружия, боеприпасов катастрофически не хватает. Солдат бросают в бой безоружными, велят брать винтовки у убитых. Царь сидит под пятой своей супруги и под чарами Распутина, сибирского «старца», способного лечить гемофилию наследника. Теперь революция — вопрос времени.

В конце 1916 года дела приняли такой оборот, что объявили призыв всех здоровых мужчин, даже «находящихся под следствием или отбывающих срок за преступления». Я получил повестку явиться на военную комиссию в Красноярск. Царь Николай попал в такой переплет, что его армии потребовался Иосиф Сталин.

Я строил планы мятежа в войсках, но меня забраковали как физически негодного ввиду усохшей левой руки. Я всегда спрашивал себя: к чему она мне, какую службу сослужит? Теперь я знал. Вскоре пришли вести о глупой смерти других революционеров в армии: одного задавило грузовиком, другого накрыло артиллерией, третьего разнесло шрапнелью.

Меня отправили не обратно за Полярный круг, а в Ачинск, довольно большой город неподалеку от Транссибирской железной дороги. Именно там, в Ачинске, в феврале 1917 года я прочитал слова, такие знакомые, обыкновенные, но никогда еще не выстраивавшиеся в таком необыкновенном порядке: РЕВОЛЮЦИЯ В ПЕТРОГРАДЕ. ЦАРЬ ОТРЕКСЯ ОТ ТРОНА.

Ленин был в Швейцарии, Троцкий — в Нью-Йорке. Я мог первым оказаться на месте.

**Ненавижу революции. За двенадцать лет между 1905-м и 1917-м я забыл — до какой степени, но мне пришлось быстро вспомнить.**

Революция — публичное действо, а я не публичный деятель. Все это обрушилось на меня во время поездки на поезде из Сибири в Петроград. Толпы на каждой станции, цветы, речи, орации. Поцелуи героям, возвращающимся из ссылки. Я говорил раз или два, но я чувствовал: люди вежливо ждут, когда кто-то зажжет их огнем.

Петроград поразил меня странной смесью обыденности и чудовищного хаоса. Дети ходили в школу, публика валила на балет, ходили трамваи. В то же время город превратился в «один большой массовый митинг», говоря словами Троцкого из книги обо мне. Солдаты тысячами дезертировали и продавали оружие — революционерам и уголовникам, наводнившим город, когда Временное правительство распахнуло двери тюрем. Пьяные толпы грабили дворцы. Революционеров задерживали силой оружия по дороге домой с митингов. Шлюхи в меховых манти танцевали в кабаре, которые возникали повсюду. Состояния со смехом просаживались в рулетку, красно-черное колесо которой символизировало крас-

ным — революцию и черным — анархию. Я сам не был стопроцентно уверен, на что ставить. И совершил первую ошибку. Захватив снова контроль над «Правдой», я печатал статьи, призывая к сотрудничеству с буржуазным Временным правительством. Моя ошибка состояла в том, что я предпочел Маркса Дарвину. Маркс говорил, что отсталая крестьянская Россия будет последним местом на Земле, где совершится успешная пролетарская революция. Но Ленин оказался лучшим дарвинистом, а не марксистом. Он понимал, что вопрос стоит о выживании сильнейших, что борьба предстоит не на жизнь, а на смерть. Все решит организованное насилие, а не теория, парламент и болтовня. И заспешил домой в plombированном вагоне, любезно предоставленном германским правительством, которое, точно пулю, пустило Ленина в мозг России. На триумфальной встрече Ленина на Финляндском вокзале сияли прожектора, развевались знамена, толпа пела «Марсельезу». Ленин произнес речь с броневика. Меня там не было.

На то у меня были веские причины. Теперь, когда Ленин вернулся, я больше не был здесь человеком номер один. И я не был вполне готов противостоять его гневу за взятую «Правдой» неверную линию. Важнее для меня было разыскать двух старых друзей — Антонова и Бенно.

Когда я встретил Бенно в тюрьме, он дал мне список мест, где с ним можно будет связаться. Если он жив и на свободе, то наверняка в Петрограде, где сейчас легче всего обчищать карманы. Но я не мог найти и следа Бенно. Либо никто ничего не знал, либо не хотел говорить. Наконец я рискнул и оставил для него свой адрес, по которому жил — как обычно, у Аллилуевых. Они встретили меня как героя, как товарища, как члена семьи. Детям нравилось, как я повторял зажигательные речи на желез-

нодорожных станциях — про нашу «драгоценную, священную, долгожданную» революцию, которая наконец свершилась. Надя, уже пятнадцатилетняя девушка, по-прежнему смотрела на меня замороженно, но теперь она еще и спокойно оценивала меня откровенным взглядом молодой женщины.

Новая квартира Аллилуевых была уютна и просторна. В ней иногда останавливался и Ленин. Сначала он держался по отношению ко мне резковато. Но я знал, как это излечить, — надо солидарно голосовать с ним по всем вопросам. Как любил говорить сам Ленин, опасны не ошибки, а упрямая их защита. Некоторые товарищи — Зиновьев, Каменев — упрямо противостояли Ленину, но они были обременены принципами.

К июлю 1917 года Ленин начал открыто призывать к захвату власти. Временное правительство выдало ордер на его арест. Ленин заколебался: использовать ли суд как публичный форум и усилить тем самым призыв к революции или бежать, скрыться, рискуя упустить момент? Ленин, знаменитый своим принципом: «Если да, то говори «да», если нет, то говори «нет», — никак не мог решиться. Его осаждали с советами со всех сторон.

Вопрос решил я. Скрываясь, Ленин ночевал у Аллилуевых, где он чувствовал себя как дома и в безопасности. Дети подглядывали у двери на кухню, как бог ест суп. Я прогнал их со смехом. Ленин этого даже не заметил.

Когда мы пили чай, я закурил папиросу и сказал: «Я поддержу любое ваше решение, вы вождь, но есть вещи, в которых я разбираюсь лучше вас, есть область, где мой опыт превосходит ваш».

Ленин посмотрел на меня с любопытством. «Что же это?»

«Тюрьма».

«Не стану спорить».

«Вы не можете решить, использовать ли суд как публичный форум или скрыться, так?»

Не желая признаваться, что он колеблется, и испытывая от этого неловкость, Ленин мрачно бросил: «Верно».

«Проблема в том, — сказал я, придвигаясь к нему поближе, — что выбор совсем иного рода. Вы никогда не попадете даже в зал суда. Сейчас кто-то из сторонников Временного правительства, какой-нибудь полицейский чин, рассуждает следующим образом: если Ленин решит подвергнуться аресту, он несколько дней будет всецело в нашей власти. В такие времена всякое может случиться. Ленин может попробовать бежать, и его пристрелит охрана. Сокамерник может пырнуть его ножом на тюремном дворе. Или он вдруг повесится в камере. Или сердце его не выдержит напряжения. В этом не будет ничего необычного, такое случается сплошь да рядом. А когда все успокоится, люди, за это ответственные, окажутся на французской Ривьере или еще где. И даже если мы их выследим, что с того? Они получают то, что им требовалось, — ваш труп. И кто же займет ваше место? Троцкий? Русские не готовы иметь в вождях еврея, они еще для этого не полные интернационалисты. Революция умрет вместе с вами. Для правительства вы враг, а с врагом поступают вы сами знаете как — избавляются от них чем скорее, тем лучше. Если это пришло в голову мне, то придет и им».

Ленин откинулся к спинке стула и, вскинув голову, посмотрел на меня загадочно, испытующе и, засмеявшись, сказал: «Я рад, что вы на нашей стороне».

«Пока вы живы, это сторона победителей».

«Что вы предлагаете?»

Я посмотрел на него как пограничник, проверяющий документы.

«Избавьтесь от бородки», — сказал я.



Мы с Лениным вышли в столовую, где Аллилуевы пили чай, предоставив нам поговорить наедине. Дети подняли глаза от учебников.

«Сталин прав, — сказал Ленин тоном, в котором не слышалось сомнения. — Я должен немедленно уехать из Петрограда. Сталин говорит, что надо избавиться от бороды. Могу я попросить у вас бритву и кисточку?»

Надя смотрела на меня, не отрывая глаз, с того момента, когда Ленин сказал: «Сталин прав».

«Надя, — сказал я. — Мне нужна твоя помощь».

Она вскочила на ноги. Я дал ей адрес «министра иностранных дел» и велел передать ему, что нам нужен фотограф и лучший из имеющихся у него паспортов.

На кухне я побрил Ленина. Очень осторожно у горла. Я невольно думал о том, как тонка кожа между венами, и если в какой-то момент мне приходила мысль, что политика в нужном контексте сводится к убийству, то именно в этот.

Когда впервые видишь человека без бороды, невозможно скрыть изумления. Внезапно Ленин стал меньше похож на лисицу, стал не столь напряженным и сосредоточенным. Лицо его расширилось, выступили скулы. Он был похож на русского моряка, только что сошедшего с корабля на берег.

Ленин и сам слегка изумился, посмотревшись в карманное зеркальце. Но в нем не было и грана тщеславия. Его интересовало одно: как выглядит его новое лицо и как ему соответственно следует себя вести, скрываясь в Финляндии, которая хотя и находилась под властью России, но была рада помогать врагам режима.

Ленин пожал мне руку: «Хорошая работа».

Затем весь ушел в дела, собирая одежду, бумаги, нетерпеливо дожидаясь прихода фотографа.

Я не сопровождал Ленина в Финляндию, но несколько раз ездил к нему, выполняя его поручения. Троцкий это знает, но мои исчезновения вызывают у него подозрение. К счастью, его объяснения годятся скорее для психолога-любителя, чем для опытного следователя: Сталин, говорит он, «из 24 заседаний ЦК за август, сентябрь и первую неделю октября... отсутствовал шесть раз... В ряде случаев его отсутствие объяснялось несомненно обидой и раздражением: когда ему не удается настоять на своем, он предпочитает не показывать глаз, скрываться и утробно мечтать о реванше».

К тому времени, когда я был избран членом Центрального Комитета, я понимал, что с каждым днем возрастают наши шансы на захват власти в России. И я давно уже понимал ключевой принцип: всегда есть комната, откуда исходит власть. Я был слишком занят, чтобы ходить на митинги. Я переворачивал Петроград в поисках капитана Антонова, единственного человека в мире, имевшего власть, чтобы лишить меня места в этой комнате, из которой предстоит руководить Россией. Ясное дело, я не мог рассчитывать на помощь моих товарищей-революционеров. Если б я мог найти Бенно, мои шансы разыскать Антонова сильно бы возросли. Но я не хотел больше связываться с криминальным миром в поисках Антонова; подельники могут потом стать опасны. Мы с Бенно были связаны в прошлом, я знал, как он действовал. Конечно, если бы я сам нашел Антонова, это было бы идеально. Я имел при себе два револьвера и большую сумму денег на тот случай, если раньше найду Бенно. Он получит револьвер и хорошие деньги.

Целые дни я искал Антонова, ночи напролет — Бенно.

Информация была скудная. Я узнал, что многие жандармы бежали из страны, другие, сменив лояль-

ность, начали служить новому правительству, а третьи, что называется, залегли, выжидая, кто окажется наверху. По моим расчетам, Антонов был из их числа: он был слишком петербуржец, чтобы уехать из страны, слишком умен, чтобы принять сторону шаткого правительства, которое не было в состоянии контролировать даже столицу. А что, если он уехал в провинцию к родственникам, чтобы выждать, когда все уляжется?

Какой-то следователь однажды сказал мне, что большинство дел раскрывается благодаря удаче или глупости — везению полиции, ошибке преступника. Мне повезло.

В маленьком ресторане я завязал разговор с почтальоном, который жаловался, что в течение нескольких недель не может выполнять свои обязанности из-за солдатских толп, революционеров и хулиганов, которые хозяйничают на улицах. Я спросил, нет ли у него на маршруте Антонова. Он сказал, что их трое, и дал адреса. Я угостил его водкой и сказал, чтоб не беспокоился, скоро он снова сможет доставлять почту.

Второй адрес оказался тем, что был мне нужен. Дом оказался лучше, чем я ожидал. Я позвонил в дверь.

Пожилая женщина с зонтиком в руке поднялась по лестнице и остановилась. При виде меня у нее сделался испуганный вид — я был в потрепанной одежде, чтобы легко смешаться с толпой на улице.

«Я ищу Бориса Филипповича Антонова, — сказал я. — Я его коллега».

Она застыла, как животное при виде опасности.

«Мы вместе работаем», — повторил я.

«Он уехал», — сказала она с нотками истерии в голосе.

«Уехал? Куда?»

«Куда люди уезжают в наши дни? Нет, подождите, сейчас вспомню. Его жена и дети уехали в Крым, а он перебрался на другую квартиру после того, как кого-то повесили на фонарном столбе прямо перед нашим домом, можете себе представить?»

Она посмотрела на меня, как бы убеждаясь, что я могу это себе представить, и поспешила уйти.

Я нашел управдома, который за несколько рублей пустил меня в квартиру. Следы торопливого отъезда — открытые ящики бюро, чай в стакане, бумаги, разбросанные на полу, на столе, диване. Я пробежал их глазами, ища что-либо, имеющее отношение ко мне или указывающее на местонахождение Антонова. Ни того, ни другого.

Перед уходом я еще раз посмотрел на стол. Приподняв стакан с чаем, я увидел в коричневом от чая пятне несколько слов, нацарапанных на бумажной салфетке. «Ваня-Дубина, девять часов».

Я вышел на улицу. Пьяная толпа несла мимо горящего дома шлюху в позолоченном кресле. Опустилась ночь. Время искать Бенно.

Я зашел в «Лебединое крыло», бар в подвале. Появляться в таком месте с пачкой денег и двумя револьверами нужно, соблюдая крайнюю осторожность. Половина посетителей готова вас убить, чтобы завладеть оружием, не говоря уже о деньгах. Но я знал, как входить в такое место, как заказать, как сесть. Несколько голов повернулось в мою сторону, несколько пар алчных глаз осмотрели меня оценивающе и отвернулись к своему пиву.

«Бенно сказал мне, что я могу его здесь застать», — сказал я официанту.

«Правда, сказал?» — переспросил он.

«Правда, — ответил я. — Мы когда-то делили комнату».

Он улыбнулся этому эвфемизму. «Он иногда заходит». «А Ваня-Дубина?»

«Что, вам нужна квартира?»

«Может быть».

«Если он придет, я ему скажу».

Я пил пиво с водкой и ждал. Хорошие чаевые разговорили официанта. Я узнал, что занятие Вани-Дубины — подыскивание квартир для тех, кто не в ладах с законом, но поскольку тюрьмы опустели, его дело выдохлось.

Ваня так и не пришел, но часа в два ночи появился Бенно. Я видел, как бармен кивком показал ему в мою сторону, и Бенно улыбнулся мне через весь зал. Я сидел за маленьким столиком в углу.

Мы похлопали друг друга по спине.

«Сукин сын, — сказал он, — твоя правда взяла».

«Я же говорил».

«А я не слушал».

«Так слушай теперь. Мы тогда взяли банк в Тифлисе, скоро возьмем все целиком, сечешь?»

«Секу».

«Есть Центральный Комитет из двенадцати человек, которые всем управляют. Я один из них».

«Не удивляюсь».

«Люди, которые помогают нам сейчас, не пропадают, когда мы завершим».

«Чем я могу помочь?»

«Знаешь Ваню-Дубину?»

«Иногда вижу».

«Надо найти его. Тебе нужны деньги?»

«Несколько рубликов пригодилось бы».

Под столом я передал ему деньги и револьвер.

«Будем кончать Ваню?»

«Нет. Нам с ним надо только поговорить. Ты его найдешь. А я буду приходить каждую полночь. Точно в двенадцать».

«Ваня плохой».

«Что это значит?»

«Люди говорят, что он играл на обе стороны. Он сдавал квартиры беглым, но полиция почему-то их забирала. Некоторых».

«Люди далеки от совершенства».

«Никогда не мог тебя раскусить. Так или иначе, ставлю тебе пиво», — сказал Бенно, расплачиваясь моими деньгами.

Наступил октябрь. Ленин вернулся в Петроград. С Финляндского залива подули холодные ветры. Первые холодные дожди. Шли дни. Я не мог найти Антонова, а Бенно не мог найти Ваню-Дубину.

Наконец пришла удача.

«Ваня придет завтра вечером», — сказал Бенно, стоя у бара.

«Почему не сегодня?».

«Он нервничает».

«А кто не нервничает?»

Было назначено заседание Центрального Комитета по подготовке восстания. Это неважно. Революция может произойти и без меня, а Антонова никто, кроме меня, не найдет.

Ваня-Дубина опаздывал. Он появился почти в два часа ночи. Высокий, худой, с землистым лицом.

Мы сели за столик. Довольный, что ему удалось доставить ко мне Ваню, Бенно заказал пиво и жареную колбасу.

Долгое время все молчали. Бенно — потому что это была его роль, Ваня — потому что хотел узнать, в чем дело, я — чтобы показать, что командую я.

«Бенно объяснил, что со мной можно не темнить?»

Ваня кивнул. У него были молочно-голубые глаза и непроницаемое, как у картежника, лицо.

«Вот что мне довелось услышать, — сказал я. — Тебя разыскивают люди. Они на тебя сердиты. Мне все равно, что ты сделал. Могу сказать, что ты можешь быть спокоен. Через несколько дней мы все

приберем к рукам, мы уже все прибрали к рукам, но через несколько дней это будет объявлено официально. Понял?»

Ваня кивнул.

«Если тебе нужен паспорт, чтобы исчезнуть из страны, ты его получишь. Если тебе нужны деньги или безопасное место, ты это получишь. Так чего ты хочешь?»

«Все три», — сказал Ваня, едва задумавшись.

Мы с Бенно засмеялись. Улыбнулся даже Ваня.

«Идет, — сказал я. — Деньги при мне. Я дам тебе адрес безопасной явки, где мы встретимся завтра».

«Три тысячи, — сказал Ваня. — Нет, четыре».

«Три с половиной».

«А чего вы хотите?»

«Бориса Филипповича Антонова. Капитана Антонова».

Ваня выпятил нижнюю губу. «Это нетрудно».

«Может, не так уж легко. Приведешь нас к нему, тогда сделка и состоится».

«Хорошо».

«Тысяча сегодня за доверие, остальное вместе с паспортом».

«Справедливо».

«Но эта тысяча за доверие только при одном условии».

«Слушаю».

«Бенно до тех пор остается с тобой. А то еще исчезнешь».

«Договорились».

Нелегко было достать паспортный бланк. В мое отсутствие Центральный Комитет решил в ту же ночь штурмовать Зимний дворец. Все бегали как сумасшедшие, никого нельзя было найти. Все же к девяти вечера, в назначенный час, деньги, паспорт и ключи были на столе на безопасной явке, когда явились Бенно и Ваня.

«Город точно обезумел», — сказал Бенно.

«Сегодня решающая ночь», — объяснил я.

Ваня поднес банкноты к свету, проверил паспорт, осмотрел квартиру. Остался удовлетворен.

Я взял ключи от квартиры, позвенел ими, чтобы привлечь его внимание, затем сунул их в карман вместе с паспортом и деньгами.

«Пора заканчивать», — сказал я.

Под морозящим дождем сновали бронеавтомобили. Вспыхивала спорадическая стрельба. На перекрестках горели костры. На тротуаре лежала дохлая лошадь.

Ваня вел нас по продуваемым ветром улицам. Казалось, что мы три раза пересекли Фонтанку и углубились в район трущоб Сенного рынка. Никто не говорил ни слова. Наконец он остановился перед аркой, за которой виднелся темно-синий дом с белыми пятнами штукатурки там, где осыпалась краска.

«Здесь, — сказал Ваня. — Третий этаж. Квартира тридцать семь. Вон окно», — показал он.

«Помни, сделка состоится, только если он здесь».

«Ночами он дома, как все люди».

«Подожди здесь. Мы с Бенно поднимемся. Если он там, мы просигналим из окна. Затем поднимешься ты, и это твое», — я похлопал себя по карману.

Лестница пропахла мочой. Я велел Бенно постучать и сказать, что его прислал Ваня. «Доставай револьвер, и вперед».

Антонов был в нижней рубашке, со спущенными подтяжками, когда он открыл нам дверь. Шок на его лице сменился облегчением, когда за спиной Бенно он увидел меня. Я не был налетчиком, со мной он умел находить общий язык. В комнате не было ничего, кроме стула, стола и дивана, застеленного как постель.

Я вынул револьвер. «Антонов, сядьте на стул, и ни слова». Потом повернулся к Бенно: «Открой окно, дай знак Ване подняться».



Я вынул деньги и положил их на стол.

«А паспорт и ключи?» — спросил Бенно.

«Деньги твои. Прикончи Ваню на лестнице».

«Но я думал...»

«А ты не думай».

Бенно пожал плечами и вышел на лестницу.

«Вы проделали длинный путь, поэт», — сказал Антонов.

«И вы тоже», — сказал я, оглядывая грязные желтые обои.

«Вот мое предложение, — сказал Антонов. — Насколько я понимаю, между вами и Лениным шесть фигур: Троцкий, Малиновский, Свердлов, Бухарин, Каменев, Зиновьев. Один из них сотрудничал с нами. Его вел лично я».

«Документы, подтверждающие это, в вашей квартире?»

«Не здесь и не там. По-моему, вы окажете Ленину большую услугу и подниметесь на ступеньку выше».

«Взамен?»

«Моя жизнь».

«Почему вы остались в городе?»

«Женщина».

«Женщина?»

На бетонной лестнице гулко прогремели звуки выстрелов, их было три, за которыми через небольшой интервал последовал четвертый. Бенно открыл дверь, переступив через труп Вани.

Должно быть, он ждал на лестнице, пока Ваня не поднялся, затем выстрелил ему три раза в спину. Последний, контрольный, выстрел в голову был сделан с очень близкого расстояния — брызги крови попали на обшлага брюк Бенно. Я видел, что его немного трясет, но контроля над собой он не потерял.

Антонов чуть не вскочил со стула. Он смотрел мне прямо в глаза, но без мольбы.

Направив револьвер на Антонова, я отступил на один шаг и сказал Бенно: «Один в сердце, один в голову»

«Вы никогда...» — выкрикнул Антонов в тот момент, когда первый выстрел сбил его со стула. Он задвигал руками, как человек, вздумавший плыть по полу. Бенно подскочил к нему, опустил на одно колено, но никак не мог прицелиться в голову Антонова, потому что тот все еще пытался ползти.

«Не торопись, — сказал я, заходя ему за спину. — Я тебе помогу»

В краткий миг тишины я услышал с улицы гул далекой толпы и еще что-то, похожее на глухой артиллерийский залп.

Антонов бился, как рыба на палубе. Бенно приставил дуло револьвера к его виску. Как только он нажал на спусковой крючок, я выстрелил ему самому в затылок. Бенно был, строго говоря, последним человеком, которого мне пришлось убить.

**ЧАСТЬ**

**IV**

**Убийство капитана Антонова и его мотивы — не то преступление, которое, как я опасаясь, раскроет Троцкий. Меня по-прежнему волнует только *это*.**

Время от времени документы царской охраны, связывающие меня с этой организацией, всплывают на поверхность как в России, так и за рубежом, но ими легко пренебречь, назвать подделками. И даже если Антонову хватило бы дальновидности уехать из России в 1917 году и чудом остаться в живых, внезапно появиться в Мексике летом 1939 года и открыть все Троцкому, даже это не составило бы большой проблемы. С какой стати ему поверят? Почему он ждал так долго? Нет, Антонов мог погубить меня только тогда, сразу же после революции.

По мере того как лето 1939 года близится к концу, две вещи должны быть совершенно ясны Троцкому: до войны остались считанные недели, а с началом войны Сталин будет желать его скорейшей смерти. Поэтому для Троцкого настал момент сделать свой ход, сейчас или никогда.

Во всех публичных заявлениях Троцкий, конечно, выступал против фашизма и за советский коммунизм. Но в глубине души он должен понимать, что у него остался только один шанс спасти свою жизнь,

свою карьеру и дело коммунизма, как он его понимает. Этот шанс состоит в том, чтобы взять сторону Германии в ее борьбе против меня. Но гордость ему мешает. Принять сторону немцев не только противно его нутру, это будет доказательство, что все обвинения, предъявленные ему Сталиным, — не клевета, а точная трактовка его тайных намерений.

Фактически у немцев и Троцкого много общего.

Проблема с немцами не в том, что они мнят себя выше всех остальных.

Проблема в том, что они действительно лучше всех остальных.

Немцы — люди науки и должны обосновать чем-то свои выводы. Они не такие, как русские, которые приходят в возбуждение, если вы произносите нужные слова: водка, правда, Россия. Немцам нужны доказательства, свидетельства, логика.

И вот немцы оглядываются вокруг себя и видят, что все, производимое ими, лучше: их поезда лучше, их самолеты лучше, их мозги лучше. Кто может их винить за то, что они делают здравые, очевидные выводы?

Истинный изъян немецкой логики в том, какие выводы они делают: раз они лучше, они должны восторжествовать. Ничто не может быть дальше от истины. Хорошее — это последнее по счету, что торжествует в мире, не говоря уже о лучшем.

Поэтому немцы и Троцкий ошибаются, полагая, что превосходящее должно победить.

Объективно Троцкий *должен был* вступить в союз с нацистами, потому что только у них есть сила, способная дать ему то, что ему нужно, — Россию, Кремль. У американцев, может быть, и есть сила, но не в их интересах возвращать Троцкого в Россию. Им плевать на Троцкого, на Россию, на все. Но немцы — другое дело. Немцев всегда интересует то, что происходит в России, она их сосед. И в конце концов, кто,

как не немцы, спешно отправил Ленина в plombированном вагоне? Кто сказал, что им не придет в голову отправить еще одного, на сей раз Троцкого?

Троцкий знает историю, он не может не видеть этой связи. Война, немецкий вагон, новый вождь для России — это не так уж сложно.

А вот с точки зрения Сталина, это не может быть признано благоприятной возможностью. Троцкий и нацисты — худшей комбинации я не в состоянии придумать.

Именно потому, что с точки зрения Сталина это худшая из возможных комбинаций, Сталин был вынужден — хотя бы только из нормального, здорового инстинкта самосохранения — сделать так, чтобы эта худшая вероятность не стала худшей реальностью.

Конечно, идеально было бы ликвидировать и Троцкого, и нацистов. Ничего нет лучше, чем все худшее уничтожить одним ударом. Но мы живем в реальном мире. В этом мире очень много нацистов.

Поэтому я нашел способ сделать так, чтобы объединение Троцкого с нацистами стало невозможным. 29 августа 1939 года мир узнал, что я подписал Пакт о ненападении с Германией.

Правда, вся эта идея насчет Троцкого и нацистов, наверное, полная чепуха. Зачем Гитлеру этот еврейский выродок?

Впрочем, ничего никогда неизвестно. Если я мог предать Россию, то почему Гитлер не может предать Германию?

Но в сентябре 1939 года все это было достаточно смутно. Гитлер вторгся в Польшу, а мы, согласно секретным пунктам нашего договора, вошли 17 сентября в восточную Польшу. Теперь все прояснилось. Франция и Англия против Германии, Америка и Россия выжидают.

Однако начало войны спутало операцию «Утка».

В середине лета Эйтингон уехал в Париж натаскивать Рамона и Каридад в технике шпионажа. В конце

августа мать с сыном отплыли из Гавра в Нью-Йорк. Но Эйтингон находился в Париже, когда вспыхнула война. У него был польский паспорт. Это плохо по трем причинам. Во-первых, он фальшивый. Во-вторых, он просрочен. И в-третьих, раз он числится польским гражданином, он должен либо служить во французской армии, поскольку Франция и Польша — союзники, либо его надо интернировать как подозрительного иностранца. Эйтингон предпочел скрыться.

Я пришел в бешенство. Война должна была развязать мне руки в отношении Троцкого, а не связать их. Я вызвал Берию и Судоплатова, чтобы сказать им, что я не хочу, чтобы Эйтингон терял время в Париже, раз он возглавляет операцию по уничтожению Троцкого. Они поклялись, что вытащат Эйтингона из Франции в самое короткое время.

Связи с французской полицией у нас очень хорошие, но все же ушел целый месяц, пока Эйтингон получил необходимые документы, чтобы уехать из Франции в Соединенные Штаты. Теперь возникла новая проблема. Проблема получения американской въездной визы.

Тем временем Эйтингона поместили в клинику для душевнобольных и снабдили подложным французским удостоверением личности на имя сирийского еврея, страдающего душевной болезнью. Это делает его непригодным для военной службы, устраняя хотя бы одну неприятность. Но его все еще могли арестовать и выслать как нежелательного иностранца.

В Швейцарию, точнее, в Лозанну, был направлен агент для связи с Максимом Стейнбергом, бизнесменом, у которого были хорошие связи в американском консульстве. Стейнберг тоже наш агент, но в последнее время он кажется не вполне надежным. В прошлом году его вызвали в Москву, но он отказал-

ся приехать, опасаясь попасть под чистку. Он отказался встретиться с агентом, которого мы послали в Лозанну. Наконец он согласился на встречу, но, опасаясь, что его убьют, наставил пистолет на нашего агента, который заслуживает награды за то, что ему удалось в конце концов заговорить Стейнбергу зубы и внушить, что ему ничего не угрожает. В конце концов Стейнберг согласился помочь добыть американскую визу для сирийского еврея. На это ушла еще одна неделя. Потеряно почти полтора месяца. Наконец в октябре 1939 года Эйтингон отплыл в Нью-Йорк. В Бруклине он основал экспортно-импортную компанию, которая будет служить центром связи для операции «Утка» и даст профессиональное прикрытие Рамону, которому удалось получить поддельный канадский паспорт. Дело сдвинулось с места.



**Кроме достижения многих других полезных результатов, моя сделка с Гитлером практически ставит Троцкому мат.**

Отчасти это хорошо, отчасти плохо. Хорошо потому, что Троцкий теперь в одном шаге от полного краха. Плохо потому, что единственная контратака, которую он может предпринять и которая может его спасти, — та, что уничтожит меня одним махом, и он приближается к *этому* с каждым днем. Рассказав о революции, он переходит к Гражданской войне.

Я ничего не потерял, пропустив день революции. Даже сам Ленин говорил, что это оказалось «легче легкого». Всего шесть человек погибло при штурме Зимнего дворца, хотя жертв в Москве было больше. Но в 1918-м разверзся ад. Вспыхнула гражданская война. Впервые конфликт между Сталиным и Троцким разыгрывался на большой сцене. Гражданская война длилась немногим больше двух лет. Война между Сталиным и Троцким длилась дольше.

Ленин у власти был блистателен, неукротим, безжалостен. Ничто не могло его остановить. И уж конечно, не парламент, избранный по правилам буржуазной демократии, где большевики не получили большинства. Ленин прикрыл его после первой же сессии

в январе 1918 года. России нужны были объединенные усилия, а не говорильня. Враги надвигались со всех сторон. Немцы все еще наступали, угрожая захватить Петроград, и это вынудило Ленина перенести столицу в Москву. Белые собрали огромные армии повсюду — от окраин Москвы до Тихого океана. Вся блядская заграница вторглась в Россию. Американцы высадились в Сибири, французы — в Одессе, англичане — на Белом море. Черчилль призвал задушить большевизм в колыбели, послал белым советников и новое оружие войны — танки, легкие «Гончие» и тяжелые «Марк V». Целая армия чехов пробивалась на восток через всю страну. Банды анархистов и грабителей бесчинствовали повсюду. Города по многу раз переходили из рук в руки.

Главное было в том, чтобы убить врага, пока он не убил тебя. И снова я пригодился Ленину. Как пишет Троцкий: «Я быстро заметил, что Ленин продвигал Сталина, ценя в нем твердость, выдержку, упрямство и до некоторой степени его хитрость как качества, необходимые в борьбе... Ленин сильно нуждался в Сталине... Умение оказать давление — вот то, что Ленин высоко ценил в Сталине».

Сила наша была в городах. Рабочие стояли за коммунизм. Но отсталые тупоголовые крестьяне не спешили кормить города. Весной 1918 года Ленин направил меня в богатую зерном южную Россию, чтобы слегка поднажать. Я пообещал ему, что «у меня не дрогнет рука».

Я был тогда комиссаром по делам национальностей и взял на работу Надю Аллилуеву в качестве машинистки. Она по-прежнему видела во мне героя, но это была уже не школьница с косичками. Она выросла в красивую молодую женщину. В ее темных глазах, темных бровях, смуглой коже было что-то цыганское, и при этом русский, слегка вздернутый нос. Она стала пламенной коммунисткой, готовой на

все ради победы. Я пригласил ее поехать на Юг со мной вместе.

3 июня 1918 года я прибыл в Царицын, который я потом переименую в Сталинград, с отрядом Красной гвардии, двумя бронепоездами и, как правильно говорит Троцкий, «с неограниченной властью для снабжения хлебом голодающих политических и промышленных центров».

Эта «неограниченная власть» позволила мне выполнить порученное задание и осуществить свою старую детскую мечту. Она зародилась еще тогда, когда я прочитал о научном интересе Ивана Грозного к человеческой психологии в условиях пытки: какая степень боли приводит к торжеству инстинкта самосохранения над преданностью? При какой температуре тает человеческое достоинство?

Для пыток в Царицыне времени не было. Нам нужны были быстрые ответы. Где зерно? Кто против нас? Отвечайте или умрете. Иногда человека расстреливали на глазах других, чтобы они понимали: у нас серьезные намерения. Но мне по-прежнему было любопытно, и я учился. Поэтому я поставил небольшой «социальный эксперимент» — трюк, которому научился у капитана Антонова. Я приказал отобрать из арестованных, ожидающих расстрела, пять человек и поместить их в одну камеру. Каждый должен был максимально отличаться от остальных в социальном отношении. Мы отобрали казака, еврея, крестьянина, монаха и интеллигента. По какой-то причине у нас среди арестованных не было аристократа, и, хотя я был комиссаром по делам национальностей, я не ставил цель включить в их число представителей национальностей.

Как их допрашивать, по одному или группой? В каждом способе были свои преимущества. В группе их можно заставить играть друг против друга, но при индивидуальном допросе они легче проявят свою истинную сущность. Этот путь я и избрал.

Я подошел к камере и, не входя, сказал: «Иногда при расстреле одному из солдат дают холостой патрон, поэтому ни один не уверен, что он убил человека. Я сделаю то же самое, но с небольшой разницей. Все вы приговорены к смерти. Я даю каждому из вас десять минут — рассказать мне, почему вы должны остаться в живых. Тот, кто сделает это убедительнее других, увидит завтрашний день, остальные умрут сегодня».

«Почему мы должны вам верить?» — фыркнул интеллигент.

«А почему нет?»

Остальные промолчали. Я сказал интеллигенту: «Ты первый».

«Я отказываюсь играть в вашу отвратительную варварскую игру».

«Отлично, — сказал я, переключив внимание на остальных. — Ваши шансы выросли на двадцать процентов. Кто следующий?»

Еврей тяжело поднялся на ноги. Лысый, мясистый, у него была внешность любителя поесть, примерного семьянина, шутника на свадьбах.

В комнате для допросов я посмотрел на часы, давая ему понять, что время истекает, и сказал: «Слушаю».

«Меня зовут Яков Биндер, у меня три сына и три дочери. Я не враг вашей революции...»

«Тот факт, что вы говорите «вашей революции», означает, что вы враг».

«Я не был ни за, ни против нее».

«Кто не с нами, тот против нас».

Он тяжело вздохнул, признавая мою логику. «Как только разразилась война с Германией, я понял, что пришла беда. Вся моя семья эмигрировала в Америку, они уговаривали меня уехать с ними. Нет, сказал я, это пройдет, как проходит все. Но чтобы перестраховаться, я закопал немного золота. Золото всегда выручит. Этому учил меня мой отец».

«Так вы хотите выкупить свободу?»

«Я знаю, что у вас не хватает винтовок и патронов. Поговаривают о покупке винтовок у американской компании «Винчестер». Но американцы векселя не возьмут. Тысяча винтовок, нацеленных в ваших врагов, вместо одной, нацеленной в несчастного еврея».

«Готовы упасть на колени и молить о пощаде?»

«Если это поможет».

«Не надо. Ваше предложение разумно».

Следующим я вызвал казака. Ожидая, когда его приведут, я вспомнил верхового казака, которого я когда-то застрелил выстрелом в рот во время майской демонстрации. Но в отличие от того светлородого дюжего казака, этот был низкорослый, темноволосый, симпатичный.

«Как тебя зовут?» — спросил я.

«Богдан».

«Хорошо, как ты сюда попал?»

«Началась война, все в деревне говорили: надо воевать с красными, они заберут нашу землю. Я сел на коня и поехал со всеми остальными. И вот я здесь».

«Будешь теперь воевать за нас?»

«До самой смерти».

«Почему?»

«Потому что... теперь я вижу, что народ за красных, а господа обманом гонят нас на войну с ними».

«Еврей, который был здесь до тебя, говорит, что у него закопано золото, на которое можно купить тысячу винтовок для революции. А у тебя нет даже ружья, и кто знает, пойдешь ли ты с нами, когда тебя выпустят. Почему я должен освободить тебя, а не его?»

Богдан молчал. Глубокая бороздка, похожая на птичье крыло, появилась на его лбу.

«Почему... вы должны выбрать меня, а не его? Потому что он мерзкий еврей!»

Я громко расхохотался. «Отличный аргумент. Станешь молить о пощаде на коленях?»

Лицо его потемнело. «Казак не становится на колени».

Увидев мой недовольный взгляд, Богдан быстро добавил: «Вы же не хотите, чтобы за вас сражались люди, готовые вымалывать жизнь».

«Для казака ты очень сообразителен».

«Несмотря на это, я здесь».

«Да».

Затем настал выбор между крестьянином и монахом. Крестьян я не люблю и хотел разделаться с ним побыстрее.

Его не надо было просить, он рухнул на колени, как только вошел в комнату.

«Ваше превосходительство, пощадите меня. Да, я был жаден, да, я припрятал зерно и скот, но теперь я отдам все до последнего зернышка, каждую корову, каждого вола. Оставьте мне жизнь, ваше превосходительство, и моя семья, и я будем есть траву и кору, только дайте мне жить. Я не верю в небеса. Я не хочу умирать. Мне только сорок. У меня дети, одиннадцать детей. Я воспитаю из них для вас хороших земледельцев, научу их отдавать зерно государству и ничего не припрятывать. Я получил урок. Разрешите мне жить, и мы поможем кормить города и рабочих».

«Быстро же ты поумнел, Тимофей Иванович, или как там тебя зовут».

«Пусть хоть так, ваше превосходительство».

«Чтобы спрятаться за чужим именем, так?»

«Нет, нет, ваше превосходительство, мое настоящее имя Иван Федорович Николаев».

Я немного помолчал, затем сказал: «Ты что, наложил в штаны, Иван Федорович?»

«Да, ваше превосходительство, только из уважения».

«Ничего себе уважение. И сколько же голов скота ты припрятал?»

«Тридцать, ваше превосходительство».

«Тридцать?»

«Тридцать и ни одной больше».

«Попросишь сам пристрелить тебя на месте, если мы обнаружим тридцать одну?»

«Тридцать одна может быть, если за это время какая-нибудь из них отелилась».

«Можешь идти. Но попрिдержи штаны, чтобы все в них осталось, понял меня?»

«Понял, ваше превосходительство».

Я вышел и закурил трубку, перед тем как позвать монаха, — чтобы проветрить комнату, хотя я действительно воспринял это как своеобразную форму уважения. Пока я курил, мне сообщили, что интеллигент передумал и хочет со мной поговорить, но я отрицательно покачал головой.

Монаху было за пятьдесят, его длинная пышная борода еще не поседела. Глаза его смотрели устало, осуждающе, испуганно.

«Согласно вашему личному делу, вы проповедовали против «красных безбожников», верно?»

«Разве я неправ? Разве вы богобоязненные люди?»

• «Мы никого не боимся».

«Это неправильно».

«Почему?»

«Потому что мы в ответе за свою жизнь».

«Вы хотите сказать, после смерти?»

«И до, и после».

«Значит, вы верите, что есть другая жизнь».

«Верю».

«Значит, смерть вам не страшна?»

«Моя вера крепка, но я человек. Я боюсь боли, я боюсь смерти».

«Чем же вам помогает Бог?»

«Помогает помнить, что он создал все миры и звезды, не только этот, где люди творят зло во имя справедливости».

«Вы не сказали мне, почему я должен вас отпустить».

«Нет никаких причин, по которым такой человек, как вы, должен оставить в живых такого человека, как я».

«Не согласен. Со времен Петра Великого церковь послушно служила государству. Вы могли бы предложить свои услуги новой России, выиграть для себя время».

«Вы хотите сказать — доносить на людей, которые мне исповедуются?»

«И это тоже».

«Бог не простил бы меня за это».

«Так почему ваш Бог не поможет вам сейчас, когда он вам действительно нужен?»

«Его пути мне неизвестны».

Он выглядел озадаченным, хотя я не сказал ему ничего такого, чего бы он не знал. Может быть, все дело было в краткости оставшегося ему времени, она и лишала его дара речи.

«Подумайте обо всем, что вы оставляете, — сказал я. — О голубизне неба, о вкусной рыбе к обеду, о звоне колоколов, о людях».

Печаль на его лице вдохновила меня. «О журчании ручья, о звучании хора, о чтении Библии, о вкусе варенья к чаю, о березках, о России, о жизни».

«Чего вы от меня хотите?» — тихо спросил он.

«Две вещи. Во-первых, сотрудничать с нами во всем, что нам понадобится, — информировать о наших врагах, молиться за нас, а не против нас».

«А во-вторых?»

«А во-вторых, вы опуститесь на колени и скажете, что отвергаете Бога, что единственный бог, которого вы теперь признаете, — это человек в этой комнате, имеющий власть казнить вас или миловать».

Он медленно сполз со стула на пол и встал на колени. Он закрыл глаза. Я дал ему несколько минут, чтобы сосредоточиться.

«Говорите!»

«Я хочу, но губы меня не слушаются».



Когда монаха увели, я глубоко задумался. Конечно, у меня есть власть расстрелять их всех или не расстреливать никого, но я должен был придерживаться правил, мною же установленных. Монах и интеллигент исключаются. Мне понравился казак Богдан, он, наверное, станет хорошим солдатом революции, но исход войны решат массы, одним больше, одним меньше — какая разница? Оставались еврей и крестьянин. Мне были неприятны оба, но это значило не больше, чем симпатия к Богдану. Предложение еврея привлекательно, в Москве меня похвалят, если я пришлю Ленину золото на покупку тысячи винтовок. Но голодные солдаты стреляют криво, а недвусмысленный приказ Ленина был реквизировать хлеб. Я мог пощадить *и* еврея, *и* крестьянина, получить *и* золото, *и* хлеб, пристрелить на месте одного или другого и верить, что тот, кого я освобожу, все равно рано или поздно попадет в наши руки.

Такое решение удовлетворяло разум, но все же что-то меня раздражало. В чем смысл неограниченной власти, если все равно приходится уступать голосу разума? Я велел вывести всех пятерых и построить их у стены. Решение в последнюю минуту мне импонировало — я пытал немножко и себя самого.

Их привели в гараж, который часто служил для расстрелов: кровь стекала по стоку для использованного масла, а моторы грузовиков можно было включить, чтобы заглушить звуки выстрелов. Но люди все знали, они понимали, что значит шум работающих двигателей.

«Пока не заводите моторы», — сказал я человеку, который уже побежал к машинам.

«Я знал, что вы лжете!» — крикнул интеллигент.

Я выждал, когда команда подняла винтовки. Мои глаза пробежали по всем пятерым. Интеллигент смотрел с презрением, у еврея был несчастный вид, Богдан держался прямо, крестьянин готов был снова

рухнуть на колени, а монах что-то беззвучно шептал, взывая к Божьей милости.

Пока я не назвал имя, я сам не знал, какое из них сорвется с моих уст. «Богдан, выходи! Заводите моторы. И начинайте».

Когда я вернулся на бронепоезд, где жил, Надя пила чай с одним из товарищей.

«У тебя усталый вид, — сказала она. — Чаю?»

«Чайку неплохо», — сказал я. Интересно, что видна только усталость.

Но еврей оказался прав относительно нехватки патронов. У нас их не хватало для расстрела арестованных. Я решил эту проблему, погрузив большое количество арестованных на крупную баржу, которую отбуксировали на середину Волги.

Чтобы испытать Надю, я попросил ее напечатать приказ: «...баржу немедленно потопить артиллерийским огнем». Она напечатала, вытащила лист из машинки и протянула мне на подпись. У нее тоже не дрогнула рука.

Вскоре мы узнали, что белые подошли к Екатеринбург, где находился под арестом царь и его семья. Это как в шахматах. Если белые сумеют освободить короля и королеву, их позиция станет гораздо более сильной. Этого нельзя было допустить. Логика требовала их казнить. Это произошло 16 июля 1918 года. Пули отскакивали от бриллиантов, которые великие княжны зашили в нижнее белье. Бедняг пришлось добивать штыками и прикладами.

Узнав о бриллиантах, я рассмеялся. В первый раз Надя меня отругала. «Все-таки там были дети», — сказала она.

«Верно, — сказал я. — Если б они выросли, они приказали бы казнить наших детей».

Сразу скажу: дело не в том, что Надя была беременна; наш первый ребенок родился только в 1921 году.

Именно в Царицыне начались мои конфликты с Троцким. Он был комиссаром по военным делам и

отвергал мое вторжение в его епархию, как будто в том кровавом хаосе возможно было ясное разделение обязанностей. Даже Троцкий признает: «Со Сталиным получилось то, что со многими другими советскими работниками и с целыми отрядами их. [Они] направлялись в разные губернии для мобилизации хлебных избытков. Но наталкивались на восстания белых и из продовольственных отрядов становились военными отрядами».

Троцкому не нравилось, как я действую и сам факт, что я действую. Так или иначе, он телеграфировал Ленину: «Я категорически настаиваю на отзыве Сталина... У нас колоссальный перевес в силах, но полная анархия наверху. Я могу положить этому конец в двадцать четыре часа, если получу от вас твердую и ясную поддержку».

Там Троцкий меня одолел. Но одолел ли? Да, я был отозван Лениным, но Троцкий одержал слишком много блестящих побед на фронтах войны. Ленин не желал никаких красных Наполеонов, внезапно противостоящих ему, и он начал использовать меня в качестве противовеса Троцкому, который в тот период держался очень амбициозно. Особенно в августе 1918 года, когда революционерка Каплан, возмущенная разгоном Лениным парламента, прострелила ему шею, когда он выходил после заводского митинга. Троцкий немедленно бросил свои военные дела и помчался в Москву, показав всем свою уверенность, что наследник — он и должен находиться в столице, чтобы возглавить страну в случае смерти Ленина. Но Ленин не умер. А я все время оставался на посту, окруженный людьми, с которыми соединился прочными узами в Царицыне и которые теперь ненавидели Троцкого не меньше меня. То были люди, которых я использую против Троцкого, когда борьба за власть в открытую вспыхнет между нами после смерти Ленина в 1924 году. Диалектика — дело

заковыристое. Победы Троцкого сделали его подозрительным в глазах Ленина. А мое «поражение» от Троцкого обеспечило мне важных союзников и в конечном счете привело к его поражению. Требуется только терпение.

Гражданская война явилась zenитом карьеры Троцкого. Судя по последним материалам, которые я получил, Троцкий не может остановиться, описывая те времена, свои триумфы, мою «незначительность». Это меня только радует. В этом периоде нет ничего такого, что может помочь Троцкому выдвинуть против меня обвинение. У меня нет секретов, касающихся того времени. Все делалось в открытую. Враги были повсюду, и мы тратили все силы на их уничтожение.

А вот Троцкий совершал тогда ошибки. Он использовал слишком много офицеров царской армии, пренебрегал партизанской тактикой и вообще держался со всеми свысока. Один товарищ писал о «княжеских поездках Троцкого на фронты». Он по-прежнему забывал, что он еврей и что русские не любят, когда на смерть их посылают евреи.

У людей мгновенно меняется выражение лица, стоит упомянуть настоящее имя Троцкого — Бронштейн. Русские недолголюбивают евреев, а особенно тех евреев, что прячутся под другими именами. Да и сам выбор псевдонима Троцкий был отнюдь не блестящим. Рассказывали, что так звали охранника тюрьмы, откуда бежал Троцкий, и взял он его, находясь в нервном возбуждении. Фамилии, заканчивающиеся на «ский», для русского уха звучат по-иностранному, это польские или еврейские фамилии. Хорошее русское имя должно заканчиваться на «ов» или «ин». Конечно, думать об этом в разгар войны было некогда, но ведь войны длятся не вечно.

Как только Англия, Франция и Америка разгромили Германию, они потеряли большую часть причин для интервенции в Россию, которые заключа-

лись в стремлении не дать нам выйти из войны. Другая часть — придушить большевизм в колыбели — оказалась для них менее интересной, особенно когда стало ясно, что белые разъединены, не пользуются поддержкой населения и, вероятнее всего, обречены на поражение. Проигравших никто не любит.

Фактически уже очень скоро Париж наводнили русские князья за рулем таксомоторов и в роли официантов. К концу 1920 года все более или менее закончилось, не считая некоторых чисток, которые мне хорошо удавались и которые Ленин охотно мне поручал. Ленин по-прежнему меня продвигал в противовес Троцкому. Иной раз, когда возникало дело по моей части, Ленин смотрел на меня очень пристально. Не знаю, оценивал ли он меня заново или испытывал отвращение от необходимости иметь дело с людьми мне подобными, отлично справлявшимися с грязной работой, которой с избытком хватает во время войн и революций. Но наши отношения оставались товарищескими, иной раз резковатыми, но сердечными. Он хвалил меня, когда я добивался успеха, и отчитывал, когда дела шли вкривь и вкось. Но одно мне было ясно: Ленин совершит переход от войны к миру, не сбавляя шаг, но Троцкому станет тесно в комнате, откуда будет осуществляться руководство Россией. Ему нужны ревушие толпы, мчащиеся поезда, бастионы и траншеи, короче — история в наиболее наглядном смысле этого слова. Во время войны он взял надо мной верх, но я уж возьму его за одно место в мирное время.

А вообще во мне нет зависти к Троцкому, я не завидую его блестящим победам во время Гражданской войны. Они обеспечили успех революции. Он работал на меня.

**Больше всего в рассказе Троцкого о Гражданской войне меня настораживают все эти телеграммы, которые он цитирует.**

Мои телеграммы Ленину, Ленина — Троцкому, Ленина — мне. Не в том дело, что в этих телеграммах есть что-то, меня дискредитирующее, но меня беспокоит само их количество. Когда с помощью Этьенна мы выкрали архивы Троцкого в Париже в 1936 году, я полагал, что мы захватили все ключевые материалы, но у Троцкого, очевидно, были и другие тайники. Кто знает, чем еще он располагает? Сейчас это важнее, чем когда-либо раньше, потому что Троцкий приступает к двадцатым годам, десятилетию, когда все навсегда изменилось. В 1921 году, с окончанием Гражданской войны, Ленин и Троцкий были главными фигурами, а я все еще действовал за сценой, оставался малоизвестным наркомнацем. В 1929 году Ленин уже пять лет как умер, Троцкий был выслан из Советского Союза, а я стал бесспорным хозяином Кремля.

Сегодня, еще десятилетие спустя, мое положение упрочилось. 21 декабря 1939 года мне исполнилось шестьдесят, через десять дней наступает новый год, сулящий мне неплохие перспективы. Междуна-

родная ситуация стабилизировалась: Гитлер занят войной с Англией и Францией, мы захватили восточную Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.

Операция «Утка» набирает обороты. Рамон — в Мехико, он ухаживает за курьершей и бывшей секретаршей Троцкого Сильвией Агелоф, которая приехала туда в январе 1940 года. Рамон пока не предпринял попытки получить приглашение в дом Троцкого, он ждет Сильвию у входа, болтая с охранниками. Тем временем художник Сикейрос почти сформировал группу, которой предстоит прямое нападение на дом. При удаче весной я избавлюсь от Троцкого. В принципе можно было бы расслабиться. Но я не могу. В последнее время что-то заставляет меня навещать в тот отдел Лубянки, который занимается Троцким. Я бываю там поздно ночью, просматриваю дела, выдвигаю ящики картотек — наугад, как вздумается.

Сначала у меня была конкретная цель — проверить список архивов, выкраденных у Троцкого в Париже. Некоторые материалы, собранные им обо мне, повергли меня в шок, и я был благодарен Этьенну за его операцию. Остается вопрос: есть ли у Троцкого где-нибудь еще другие копии этих досье? Если да, то ему надо работать побыстрее. В лучшем случае ему остается всего несколько месяцев.

Затем я просмотрел другие материалы — фотографии, документы, поблекшие машинописные копии. Наткнувшись на фотографию Троцкого, входящего в вагон поезда, я внезапно расхохотался. Перевернул фотографию. На ней дата — 16 января 1928 года. Да, конечно, все сразу всплыло в памяти. Постепенно лишив Троцкого власти, сняв его с одного поста за другим — всегда, разумеется, демократическим голосованием в Центральном Комитете, — я наконец в 1928 году почувствовал себя достаточно сильным, чтобы выслать его из Москвы. В то время он организовывал против меня демонстрации, и я не хотел, чтобы его высылка превратилась в спонтанный улич-

ный протест, который легко мог выйти из-под контроля. Мы решили эту проблему играючи. Троцкого арестовали, не обращая внимания на все его дрыганья и крики, отвезли на железнодорожную станцию подальше от Москвы и посадили в поезд, следующий к месту его ссылки, в Алма-Ату в далеком Казахстане. А за час до этого актер, игравший Троцкого в многочисленных фильмах о революции, спокойно сел в тот же поезд в Москве. Никто не заметил разницы. Почти для всех Троцкий был фигурой на трибуне, фотографией в журнале. Вот почему люди выказывают удивление и разочарование, увидев вблизи великих людей, — они всегда кажутся мельче, обыденней. Так или иначе, сработано было отменно. Актер беззаботно помахал рукой и вошел в вагон. И может быть, эта актерская покорность была не просто триумфом актерского мастерства: он должен был понимать, что его кинокарьера в роли Троцкого подошла к концу.

Вдруг мне захотелось узнать, жив ли еще этот актер и как он теперь выглядит. Хозяин-2 как всегда был внизу, ожидая, когда его отправят обратно в Кремль впереди меня или со мной вместе, как мы иногда делали, когда было уже поздно и я не опасался убийц. Когда я вошел, Хозяин-2 спал на стуле с газетой на груди. На мгновение меня пронзила зависть: хотя он выглядел точно как я, он старел медленнее, у него было меньше морщин, усы лихо топорщились. Конечно, у него было меньше переживаний. И все равно странно, как меняются лица — еще один двойник, Хозяин-3 или 4, точно не помню, внезапно в течение года потерял всякое сходство со мной. Он был в отчаянии — я знал, что, пользуясь сходством, он добивался благосклонности женщин.

«Просыпайся, старик, — сказал я. — На сегодня все».

Тремя ночами позже в Кремле произошло неслыханное событие — встреча один на один Сталина с Троцким!



Актер, игравший Троцкого в кино, был жив-здоров, старея более или менее синхронно с оригиналом. Его вызвали в Кремль в полночь. Поскребышев вышел из моего кабинета, оставив дверь приоткрытой, чтобы Троцкий-2 из приемной мог увидеть Сталина с телефонной трубкой в руке.

«Товарищ Сталин занят неотложным делом и просит извинения за задержку, — сказал Поскребышев. — Может быть, принести вам пока бутерброды, чай, фрукты?»

Не зная, как совладать с нервами, и не понимая, что все это может значить, актер сначала отказался.

«Вы уверены? — спросил Поскребышев. — Ожидание может затянуться».

«Что ж, бутерброды и чай подкрепят мои силы», — сказал Троцкий-2.

«Фрукты тоже полезны».

«Согласен».

«Я сейчас распоряжусь, — сказал Поскребышев, выходя из приемной и закрывая за собой дверь».

Пять минут спустя актер подскочил со своего места, когда запахнулась другая дверь и он увидел то, чего его ум не мог постичь, — Сталина, толкающего перед собой тележку с бутербродами, чаем и апельсинами.

«Товарищ Сталин!» — закричал он.

«Какой я тебе товарищ Сталин? Я такой же двойник, как и ты. Просто меня попросили прикатить по коридору тележку».

«У меня чуть сердце не выскочило из груди».

«Учись владеть собой».

«Теперь, присмотревшись, вижу, что это не он».

«Бутерброды для нас обоих. Если я чему-то и научился в роли Хозяина, так это не отказываться от еды, когда угощают. Где еще ты увидишь у нас апельсины?»

«Не говорите так. Вас могут услышать».

«Хозяин не обращает внимания на подобные вещи, если они не носят личного характера. Сам увидишь, с ним легко работать».

«Чего он от нас хочет?»

«Откуда я знаю».

«Бутерброды отменные, колбаса вкуснейшая».

«Ты играл Троцкого в кино?»

«Да. Какое-то время это приносило хороший заработок. Но сейчас... не только не стало работы. Несколько месяцев назад я шел по улице, ко мне подошел пьяный и, сказав: «Ты вернулся, жид-предатель», ударил меня кулаком по лицу».

«Извини, что смеюсь. Но это действительно смешно».

«Вам-то смешно. Этой проблемы у вас нет».

«Не в том дело, что у Хозяина нет врагов. Иногда я боюсь, что какой-нибудь троцкист выскочит откуда ни возьмись и перережет мне глотку, так что и моя работа не праздник».

«Понимаю. Как вы думаете, откуда эти апельсины?»

«Не знаю. Получали раньше из Испании. Спроси у Хозяина, он все знает».

«Какой он?»

«Жесткий, конечно, но с чувством юмора. Он, наверное, будет называть тебя Троцкий-два».

«Я рад, что он сокрушил Троцкого, хотя это стоило мне работы».

«И как же ты зарабатываешь себе на хлеб?»

«Драмкружок. Едва свожу концы с концами».

«Не знаю, чего хочет Хозяин, но, может, тебе что-нибудь перепадет».

«Он хорошо платит?»

«Прилично, хотя и скупают».

Поскребышев открыл дверь и сказал: «Можете войти, оба».

Они вошли и сели перед моим столом.

«Прошу извинить, что заставил вас ждать. Как вы знаете, мы воюем с Финляндией, и она почему-

то оказалась крепким орешком. Возник некоторый кризис, потребовавший моего личного вмешательства, и не последнего, я думаю. Поэтому позвольте мне перейти прямо к делу. Троцкий-два, я вижу, что вы стараетесь как можно меньше быть похожим на Троцкого. Понимаю и сочувствую. Но теперь это должно измениться. Вот стопка последних фотографий Троцкого из Мексики. Ваша задача — снова отрасстить козлиную бородку и сделать все, что требуется, чтобы стать похожим на Троцкого на этих фотографиях. Понятно?»

«Понятно».

«Вам понадобится белый костюм и французская крестьянская синяя блуза, какую носит Троцкий. При выходе Поскребышев вручит вам конверт с деньгами на расходы, и питайтесь получше. Троцкий прибавил в весе в Мексике».

«Спасибо, товарищ Сталин».

«Я приглашу вас сюда примерно через месяц. Желаю вам удачи и хорошего аппетита. Можете идти. А вы останьтесь, у нас еще есть дела».

Как только Троцкий-2 вышел из кабинета, я сказал Сталину-2 со смешком: «Хорошая работа, а теперь выметайся из-за моего стола».

**Теперь моя единственная надежда — на высокомерие Троцкого.**

Исследуя период с 1921 года до смерти Ленина в 1924, он увидит все ошибки, которые он тогда совершил, и потерял все, что было ему дорого. Но он не захочет их увидеть. А кто захочет? Поэтому его критические способности притупятся и он не сделает важных выводов.

После Гражданской войны страна лежала в руинах. Разрушенные фабрики, выжженные поля, тиф, голод, людоедство. Кроме верного ядра рабочего класса и политиков, никто нас, коммунистов, не хотел. Мы правили с помощью террора и смерти: оружие теперь было у нас.

Поэтому на Десятом съезде партии в апреле 1921 года Ленин предпринял два очень умных хода. Он выдвинул свою новую экономическую политику, вскоре названную нэпом. Стиснув зубы, он допустил развитие мелкого капитализма, зная, что алчность всегда хороший стимул. Троцкий был против. Он стоял за «трудовые армии», он хотел, чтобы батальоны призывников принудительно отправлялись на поля и заводы. Но горячие романтические дни

Революции и Гражданской войны остались позади. Настало время циничных компромиссов. Мое время.

Другой умный ход Ленина в то время остался малозамеченным. Ленин боялся одного — раскола партии. Наша власть висела на волоске, один раскол — и все могло рухнуть. Поэтому мы приняли секретное решение, согласно которому любой член Центрального Комитета, виновный в создании оппозиции, мог быть исключен из партии двумя третями голосов. В те дни все делалось весьма демократично.

Насколько хрупкой была наша власть, стало очевидно сразу же. Не успели мы завершить съезд, как взбунтовались матросы Кронштадта. Их лозунг — «Советы без коммунистов», иными словами, без нас. Проблема была в том, что матросы составляли, говоря словами Троцкого, «славу и гордость революции», они были самыми красными и самыми смелыми. Но у Ленина не было иллюзий. Власть не отдают только потому, что проиграны выборы, и власть не отдают, если какие-то матросы оказались более верны вашим принципам, чем вы сами. Он послал Троцкого сокрушить мятежников. Это было как раз то, что Троцкий так любил, — кавалерийские атаки по льду залива, ур-ра, штурм крепости.

Это был еще один циничный компромисс, крайне необходимый, но многие товарищи так никогда и не простили его Троцкому. Это дурно пахло: еврей, убивающий наших ребят.

Я держался в тени и был занят, выполняя всю скучную работу, к которой подготовили меня долгие годы, проведенные в Сибири. Я возглавлял комитет по надзору, официально известный как Рабоче-крестьянская инспекция, и руководил Оргбюро, которое отвечало за кадры. Троцкий произносил многочасовые речи и штурмовал бастионы, а я сидел в кабинете и изучал личные дела, продвигал и снимал с должностей. У меня тогда даже появилась кличка

Товарищ Учетная Карточка. Медленно, очень медленно я укомплектовывал все основные властные структуры людьми, знавшими, что своим продвижением они обязаны мне. Я проводил с ними время, делился табачком, говорил по душам. Большинство из них были молоды и голодны. Для них революция была воплощением того, что сын водопроводчика может стать главой горисполкома.

Кроме хорошего чутья, у меня были и другие способы узнавать, что на самом деле думают люди. Я отвечал за установку особой закрытой телефонной системы для исключительного пользования узким кругом руководителей. Спроектированная чешским инженером, эта система имела сначала всего восемьдесят номеров. Я настоял на том, чтобы этот инженер сделал для меня особый аппарат, позволяющий слышать любой разговор. Когда работа была завершена, этот инженер стал обладателем опаснейшей информации. Хотя мои действия не были столь грандиозными, как царя Ивана, ослепившего архитектора собора Василия Блаженного, я велел пристрелить инженера — это максимум, что можно сделать в наше время.

Одну из самых тяжелых своих ошибок Троцкий совершил на Одиннадцатом съезде партии, в апреле 1922 года. Ленин назначил меня Генеральным секретарем партии, этот пост в то время не имел большого веса, а Троцкому предложил должность заместителя председателя Совета Народных Комиссаров, пост номер два, полагающийся наследнику. Троцкий уже раньше показал, что видит себя в этой роли, когда примчался в Москву после выстрелов в Ленина. Но теперь, когда ему предложили то, что, по его мнению, принадлежало ему по праву, Троцкий отказался.

Почему? То было главная тема коридорных разговоров во время перерыва. Я ходил от группы к группе, слушая, что говорят люди.

«Слишком высокомерный».

«Его беспокоит, что в правительстве слишком много евреев».

«Он не хочет, чтобы его назначили, он желает, чтобы его выкликнул народ».

«Ему все еще стыдно, что он заспешил в Москву после покушения на Ленина».

Именно подслушивая телефонные разговоры, я впервые узнал о медицинских проблемах Ленина. В его теле еще оставались две пули после покушения четыре года тому назад. Он страдал от ужасных головных болей, и теперь, после съезда, было принято решение об операции. Высказывались разные предположения: свинец пуль отравляет его организм, пули были смочены в яде кураре. Но могли быть и другие причины головных болей. Ленина беспокоил растущий бюрократизм, а также никуда не исчезающие враги, меньшевики и другие революционеры, отказавшиеся перейти на нашу сторону. У него было готово решение — поставить их к стенке и пустить пули в *них*.

Операция прошла успешно, но месяцем позже, в конце мая 1922 года, у Ленина случился удар. Мы получали ежедневные медицинские бюллетени. Ленина держали на строгом режиме. Никакой политики, никаких газет, никакой работы, никаких посетителей. Сидя в комнате управления всей Россией, я взял лист бумаги и проделал элементарное вычисление. Ленину пятьдесят два. Мне сорок два. Если он оправится после удара, ему останется девять-десять лет нормальной жизни. Это значило, что если я верно разыграю свои карты, то смогу оказаться во главе к его нынешнему возрасту. И это при том, что у Троцкого не переменится настроение и он не решит вдруг, что предложенный пост номер два вовсе не унижает его.

Мне нужно было посмотреть, как дела у Ленина, и я поехал в Горки, дачный поселок в часе езды от Москвы. Ленин выглядел неплохо, но у него оставались некоторые проблемы с речью. Он шутил со свойственной ему хитрецей. Иронично заметил: «Они не позволяют мне читать газеты. Мне не разрешают говорить о политике. Так что я старательно избегаю всякого клочка бумаги из страха, что это может оказаться газета. Я должен подчиняться указаниям докторов».

Конечно, он не хотел ничего другого, как говорить о политике. Я проинформировал его о текущих событиях, вставив несколько тонких шпилек в адрес Троцкого, но таких, чтобы они не выпирали. И все равно это ему не понравилось.

В другие приезды я заставлял его безучастным. Он говорил о самоубийстве и попросил даже достать ему яд, чтобы он мог сам уйти из жизни, если станет ясно, что он превращается в растение. Для него мысль о таком существовании непереносима: человек, отдавший всю жизнь борьбе за власть и взявший власть в свои руки, дремлет в кресле и пускает слюну. Ленин просил о яде жену и других домочадцев и постоянно говорил о самоубийстве дочери Маркса. Я заверил его, что он всегда будет моим вождем и я всегда выполню его волю, но надеюсь, что до этого не дойдет.

«Думайте об этом как о тяжелом похмелье, — пошутил я. — Вы клянетесь, что никогда рюмки не выпьете. Но эта клятва — составная часть похмелья. Доктора говорят, что вы вернетесь в строй к концу лета».

Он вернулся в сентябре. 31 октября 1922 года он впервые появился на публике, произнес речь, которая прошла хорошо, если не считать нескольких невнятных слов. Все же выглядел он изможденным, хрупким и слегка потеряннным.



Может быть, он со слишком большой энергией взялся за работу, потому что 16 декабря у него случился второй удар. Теперь был образован политикомедицинский комитет для надзора за здоровьем и деятельностью Ленина. Я возглавил этот комитет, и мы выработали правило: Ленин «имеет право диктовать от пяти до десяти минут в день... Ему запрещается принимать посетителей. Ни друзья, ни окружающие не должны сообщать ему никаких политических новостей».

Это было странное чувство — приказывать Ленину, запрещать Ленину, но, разумеется, это делалось для его же блага.

И все же Ленин, который всегда верил, что, имея нужный рычаг, он перевернет все что угодно, начал использовать эти пять или десять минут, чтобы сокрушить меня. В конце декабря и в январе 1923 года Ленин, одержимый мыслью о борьбе между Троцким и мною, которая угрожала расколоть партию, направил все свои силы против этой «трагической возможности», написав то, что стало известно как его Завещание. Ленин оставил себе копию, три передал жене, а пятую поместил в секретную папку.

В своем Завещании Ленин назвал Троцкого «самым способным человеком в нынешнем Центральном Комитете», но отметил «его чрезмерную самоуверенность».

Но самые жесткие слова он приберег для меня:

«Товарищ Сталин на посту Генерального секретаря сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, что он всегда знает, как пользоваться этой властью с достаточной осторожностью...»

Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности Генсека. Поэтому я предлагаю способ перемещения Ста-

лина с этого места и назначить на это место другого человека, который отличался бы от Сталина».

Ленин меня предал. И предал себя. Он становился мягким, ребяческим, слабая прощающая улыбка блуждала на губах, которые отдавали приказы о казнях десятков тысяч людей. И вот теперь он, видите ли, извиняется: «Я думаю, что я сильно виноват перед рабочими России...»

Он обрушился не только на меня лично, но и на базис моей власти, опубликовав статьи в «Правде» о сокращении комитетов, которые я возглавлял, и о добавлении в них такого большого количества новых членов, что большинство, которое я так осторожно создавал, будет сведено к маленькой фракции, которую легко будет изолировать. Теперь я пожалел, что не достал ему яд, когда он меня об этом просил. Если так пойдет дело, я не стану лидером не то что через десять лет — вообще никогда.

Но тогда, в марте 1923 года, порвав со мной все «дружеские отношения», Ленин перенес третий удар. «Бог проголосовал за Сталина», — сострил журналист Карл Радек.

Отвернувшись от меня, вспомнив, что он просил меня достать ему яд, Ленин испугался. Он настоял на том, чтобы есть вместе со всеми членами семьи. Но, как говорится, у страха глаза велики. Я больше не беспокоился по поводу Ленина. Я знал, что после третьего удара люди редко становятся на ноги. Ленин едва передвигался, речь его свелась к нескольким односложным словам. С ним было кончено. Беспокоился я теперь о Троцком.

Все мои усилия были направлены на формирование блока против Троцкого. Я, как обычно, занял умеренную позицию, заявляя, что хочу быть лишь частью коллективного руководства, в отличие от Троцкого, который по самой своей природе ни с кем не мог делить сцену. К концу года некоторые товарищи

начали обвинять Троцкого в предательстве и требовать его ареста.

Но затем внезапно, вопреки всем ожиданиям, в конце года Ленин, похоже, стал поправляться. Он больше не мог управлять всем хозяйством, но вполне был в состоянии с новой силой поддержать против меня Троцкого. Я понимал, что должен сделать свой ход на Тринадцатой партийной конференции в январе 1924 года, поскольку ни Ленина, ни Троцкого на ней не будет. Троцкого отправили на юг, в черноморский курорт Сухум, отдыхать и лечиться; его здоровье тоже было подорвано годами стрессов и напряженной работы.

На конференции я обрушился на Троцкого: «Он протвоставил себя ЦК и возомнил себя сверхчеловеком, стоящим над ЦК, над его законами, над его решениями, дав тем самым повод известной части партии повести работу в сторону подрыва доверия к этому ЦК». Иными словами, именно Троцкий виновен в тягчайшем грехе, расколе партии; именно Троцкий совершил то предательство, которого опасался Ленин и в котором он ошибочно обвинял меня. Теперь оставалось лишь вопросом времени, когда я воспользуюсь оружием Ленина — секретным пунктом, позволяющим исключить оппозиционеров из партии двумя третями голосов, — против Троцкого.

Единственным вопросом оставалось: что предпримет Ленин? Но тут Бог проголосовал снова. Через пять дней Ленин умер. Вскрытие показало обширный атеросклероз головного мозга, который настолько заизвестковался, что издавал звон при прикосновении металлических инструментов, точно был сделан из керамики.

Я действовал быстро. Во-первых, я обвел Троцкого вокруг пальца. Я телеграфировал ему, сообщив о смерти Ленина, о том, что похороны назначены

на 26 января. К этому дню он не успевал вернуться, следовательно, он продолжил лечение на юге. Фактически похороны должны были состояться днем позже, и у Троцкого было достаточно времени, чтобы вернуться. Его величайшая ошибка в том, что он мне поверил. В день похорон стоял жгучий мороз, но пришли миллионы людей. Точно в четыре часа загудели все фабричные гудки, гудки паровозов и кораблей, раздались залпы артиллерийских орудий. Продолжалось это ровно три минуты.

Людей шокировало отсутствие Троцкого, последнее доказательство его высокомерия и неуважения. Людей тронула моя похоронная речь, которую я произнес; я был также одним из тех, кто нес гроб. Я постарался привнести в свою речь религиозные нотки, используя цветастые риторические приемы, которым научился в семинарии.

«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь!»

Этим подразумевалось, что нет в России власти, кроме власти партии.

«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить единство нашей партии, как зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь!»

Этим подразумевалось, что власть и единство партии могут быть сохранены только сплочением рядов вокруг преемника Ленина, который, конечно, и есть тот человек, что произносит эти слова, а не подозрительно и надменно отсутствующий Троцкий.

И наконец, несмотря на упорные возражения вдовы Ленина, Крупской, я приказал забальзамировать его тело и объявил конкурс на проект мавзолея на Красной площади. Крупская настаивала на том, что

Ленин никогда бы не захотел ничего подобного. Она была права. Но я этого хотел, и я сказал ей, что, если она не заткнется, мы найдем Ленину другую вдову.

Я ожидал, что Троцкий исследует данный период в деталях, под микроскопом, но пока он написал о нем очень мало. Потому ли, что все это напоминает ему о серии колоссальных ошибок, которые он совершил, — противостояние нэпу, штурм Кронштадта, отсутствие на ленинских похоронах? Или есть другая причина? Фактически, судя по нашим данным на конец января и начало февраля 1940 года, Троцкий вообще прекратил работу над моей биографией. Почему он замолчал? Вычислил ли он наконец шифр моей жизни?

**Быть может, я излишне нервничаю.**

Создается впечатление, что внимание Троцкого поглощено не тем, что он наткнулся на *это*, а шумом, предшествующим убийству. Мексиканская коммунистическая пресса непрерывно и безжалостно его поносит. В первые месяцы 1940 года газеты, находившиеся под нашим контролем, награждали его обычными эпитетами: «предатель», «скользкий слизняк», «бездомная собака», «новый папа Лев ХХХ» — и напоминали о тридцати сребрениках Иуды Искарриота, что и на самом деле является кодовым именем, присвоенным Троцкому в досье на Лубянке.

Ответ Троцкого: «Так пишут люди, готовящиеся сменить перо на пулемет», — говорит о том, что его сейчас заботят не столько мои преступления, сколько собственная жизнь. Он снова взялся за перо, на сей раз, чтобы написать собственное Завещание, прощаясь с жизнью и женой Натальей:

«Если бы мне пришлось начинать все сначала, я, конечно, постарался бы избежать той или этой ошибки, но главное направление моей жизни осталось бы без изменений. Я умру пролетарским революционером, марксистом, диалектическим материалистом. последовательным

и непримиримым атеистом. Моя вера в коммунистическое будущее человечества не стала менее горячей, фактически сегодня она тверже, чем в дни моей юности.

Наташа только что подошла к окну со стороны двора и открыла его пошире, чтобы воздух свободнее входил в мою комнату. Я вижу ярко-зеленую полоску травы под стеной, чистое голубое небо над стеной, все вокруг залито солнцем. Жизнь прекрасна. Пусть грядущие поколения очистят ее от всякого зла, угнетения и насилия и радуются ей в полной мере».

Замечательно. Но все же мне надо обеспокоиться, потому что перспектива смерти может заострить его пронизательность. Я вспоминал слова одного из моих сокамерников по царской тюрьме далекого прошлого, которого вскоре должны были повесить: «Все так ясно теперь, так ясно. Я провел всю свою жизнь как в тумане, и только теперь все прояснилось и стало реальным». Поэтому, хотя атаки мексиканской прессы и отвлекли Троцкого, который сумел догадаться, откуда все эти нападки, у него еще есть время для великого момента истины, как у моего тюремного знакомого.

Согласно докладам, поступающим потоком от Эйтингона Судоплатову, Берии и мне, в первомайской демонстрации этого года будут участвовать двадцать тысяч коммунистов, которые потребуют депортации Троцкого. Это должно вывести его из себя. И если все пройдет хорошо, то настоящее нападение на его дом произойдет не позже конца мая. Троцкий был пророком, когда говорил, что перо поменяют на пулемет. Сикейрос, глава штурмовой группы, недавно купил пару пулеметов.

Тем временем Рамон продолжает ухаживать за Сильвией Агелоф, которая часто бывает внутри дома. Рамон, однако, не проявляет интереса к политике,

Троцкому или его вилле. Он делает вид, что его интересует только Сильвия и собственный бизнес, хотя недавно он позволил себе под ее влиянием походя проявить интерес к взглядам Троцкого на мир.

Эйтингон, который, в свою очередь, продолжает особые отношения с матерью Рамона, Каридад, приглашает ее время от времени в ресторан, где ее сын обедает с Сильвией Агелоф. Хотя Эйтингон сидит не настолько близко от них, чтобы слышать, о чем они говорят, — не в том дело, что это имеет значение, большей частью это чепуха, а Рамон может отчитаться позднее, — ему, очевидно, доставляет удовольствие наблюдать пантомиму их жестов, смотреть, как Рамон касается ее руки, смеется над ее шутками, как она улыбается самой себе, когда он, попросив извинения, удаляется в мужскую комнату. Однажды Эйтингон вошел туда за ним следом и, пока они облегались, стоя рядом, получил от Рамона очередной отчет. Недавно возникла небольшая неприятность.

«Сегодня Сильвия сказала мне, что не хочет, чтобы я заходил с ней в дом Троцкого»

«Почему?»

«Она наводила обо мне справки, ходила в мою контору. Это не очень серьезно, но, думаю, она подозревает что-то скользкое в моем бизнесе и не хочет никак скомпрометировать Троцкого. Не более того».

Бюджет операции «Утка» приближается уже к 500 тысячам марок, но часть этих денег действительно потрачена с толком. Рамон в соответствии со своим амплу светского человека купил себе большой роскошный «бьюик». Все любят в нем кататься, любоваться видами Мехико. Недавно среди его пассажиров были французские троцкисты Альфред и Маргарита Розмер, которые привезли Троцкому его осиротевшего внука. Розмер остановились в доме Троцкого и вечерами иногда выходят покататься или поужинать с Сильвией и Рамоном.



В марте 1940 года Сильвия должна вернуться в Нью-Йорк к своей работе в городском Бюро помощи на дому. Снова она берет с Рамона обещание, что он не будет бывать в доме Троцкого. Но тут заболевает Альфред Розмер. Кто-то должен его возить в больницу и обратно. Рамон не то чтобы предлагает свои услуги, но делает так, чтобы его попросили. Так и не увидев Троцкого, он несколько раз побывал в доме. Он никогда не задерживается надолго — только чтобы забрать Розмера, который, к счастью, поправляется медленно. Иногда он пользуется великолепной зрительной памятью, иногда даже маленькой потайной фотокамерой, чему в Париже его обучил Эйтингон. Предусмотрительность окупается.

Теперь у нас есть ясное представление о внутреннем устройстве виллы, защитных сооружениях, слабых местах, распорядке, слугах и так далее. Маленький макет виллы в отделе Троцкого на Лубянке постоянно совершенствуется по мере поступления свежей информации. Рамону удалось также заглянуть в кабинет Троцкого — дверь была открыта, а кабинет пуст. Мебель та же, что и в старом доме: письменный стол, лампа в форме гусиной шеи, мексиканские стулья с плетеными сиденьями. Из собственного завешания Троцкого мы знаем, какой вид открывается из окна кабинета — зеленая трава, белая стена, голубое небо.

Основываясь на этих данных, я велел нашим умельцам с Лубянки воссоздать кабинет Троцкого в натуральную величину. Мне в основном нравится, как у них получилось, хотя наша версия пахнет свежими опилками, а картина, запечатлевшая мексиканский пейзаж и висящая в окне, чтобы скрыть мрачную московскую зиму, довольно грубовата. Иногда ночами я захожу туда и сижу за «столом Троцкого», читая его последние страницы обо мне, потому что старик опять приступил к работе, не обращая внимания на неистовство в печати.

Но похоже, что он потерял хватку. Его писания становятся фрагментарными, он начинает об одном, затем перескакивает на другое. Может быть, близость смерти не заострила его перо, а, наоборот, притупила. Или, может быть, это снова вопрос гордости. Фатальные ошибки, которые он допустил за годы между революцией и смертью Ленина, отравили горечью следующие пять лет — между смертью Ленина и его высылкой из СССР в 1929 году.

Я уничтожал его постепенно. По крайней мере один тяжелый удар в год. В 1925 году я снял его с поста народного комиссара по военным делам и сделал так, что его взгляды стали восприниматься как взгляды презренной оппозиции. В 1926 году мне удалось вывести его из состава политбюро. «К 1927 году, — пишет Троцкий, — официальные сессии Центрального Комитета превратились в отвратительный спектакль. Ни один вопрос не рассматривался по существу. Все решалось за сценой на частных встречах со Сталиным». Не желая оставаться там, где ему это было не по душе, он к концу 1927 года был моими сторонниками исключен и из Центрального Комитета, и из Коммунистической партии. Через несколько месяцев, в январе 1928 года, я выслал его из Москвы в Алма-Ату, используя двойника на вокзале, чтобы отъезд Троцкого не сопровождался речами, протестами, столкновениями с полицией.

Вспомнив об этом, я подумал, что прошло уже достаточно времени, чтобы Троцкий-2 набрал вес и отрастил бородку. Накануне праздника Первого мая я вызвал Троцкого-2 на Лубянку.

«Не падайте в обморок», — сказал я, когда он вошел в комнату, бледный как смерть, осознав теперь, что Сталин, который угощал его чаем с бутербродами в ту ночь в Кремле, был настоящий Сталин.

«И не переживайте по поводу нашего разговора в приемной; вы не сказали ничего такого, что могло

бы стоять вам головы, — сказал я. — Ничего такого, как мне сейчас кажется».

«Я лояльный гражданин».

«Посмотрим».

«Что от меня требуется сегодня?»

«Садитесь за письменный стол. Будьте Троцким».

«Мне нужно что-нибудь делать? Читать, писать, думать?»

«Хороший вопрос. Конечно, почему нет? Возьмите ручку. Вон там бумага. Хорошо».

Я закурил папиросу и начал ходить по комнате. «Я расскажу вам, о чем думает Троцкий. Можете писать под диктовку?»

«Если не очень быстро».

«Не бойтесь сказать, если будет слишком быстро. Отлично. Дайте подумать... Итак, Троцкий пишет»:

«Сталин выслал меня в Казахстан в 1928 году. К тому времени я практически вышел из игры. То, что я писал раньше о Сталине, что он все организовывал, действуя за сценой, строго говоря, неверно. Во-первых, политика всегда вершится за сценой. А во-вторых, Сталину не пришлось организовывать слишком много. Его сторонники ждали только слова, намека, кивка, чтобы понять, чего хочет Хозяин и о чем он думает. Не было никаких сомнений в том, что Сталин хотел исключить меня, Льва Троцкого, из партии, выслать из столицы и, наконец, в 1929 году из страны.

Двадцать девятый был самым знаменательным годом в жизни Сталина. Он стал неоспоримым правителем Советской России. Я был выслан в Турцию, а в Америке обрушился фондовый рынок. Весь номер «Правды», кроме одной маленькой колонки, был посвящен 21 декабря 1929 года Сталину по случаю его пятидесятилетия.

История доказала, что я, Лев Троцкий, глубоко заблуждался со своей доктриной перманентной революции. Сталин оказался прав: социализм можно по-

строить в одной отдельно взятой стране. Ошибался даже Маркс, и только Сталин оказался прав. Рабочий класс развитых промышленных стран не поднялся на революцию после того, как мы показали ему дорогу в 1917 году. Социализм не только *мог* быть построен в одной стране, но и *должен* быть построен.

Выслав меня из СССР, Сталин приложил героические усилия для коллективизации сельского хозяйства и индустриализации страны. Да, Сталину пришлось прибегать к некоторым крутым мерам, но, как и в годы Гражданской войны, «рука у него не дрогнула», и именно за это его уважает русский народ, который любит крепкие напитки, крепкий табак, сильного лидера.

Но не будем забывать, что, несмотря на всю свою силу, Сталин только человек. Нигде это не видно так отчетливо, как в его семейной жизни. В 1918 году он женился на Надежде Аллилуевой. Ей было семнадцать лет, а ему — тридцать девять. Хотя она всегда перед ним преклонялась, это нисколько не мешало ей иметь собственное мнение. Она была очень современной женщиной. Она даже сохранила свою фамилию после замужества. Она родила Сталину двоих детей, Василия и Светлану, и заботилась о Яше, сыне Сталина от первого брака. Но Надя ссорилась со Сталиным из-за детей. Когда Яша попытался покончить с собой, выстрелив себе в грудь, Сталин только посмеялся: «Ха! Промазал! Даже застрелиться не можешь как следует!» Надя сочла это грубостью, но это было не так. Сталин хотел, чтобы его сын был мужчиной, а не чувствительным слабаком, не умеющим переносить жизненные невзгоды. Эта шутка была попыткой пристыдить сына, привести его в чувство. Со свойственным женщинам духом противоречия она обвинила Сталина в излишней мягкости к их общим детям, дескать, он портит их поцелуями, вниманием, играми со Светланой, когда она играет «Хозяина» и

отдает ему приказания, что доставляет ему истинное удовольствие.

Сталин был ей всецело верен, а вот она была неверна Сталину. Не в обыденном смысле этого слова, а в более важном, глубоком. Хотя она была революционеркой и боролась рядом со Сталиным во время Гражданской войны, Надя не могла примириться с некоторыми жестокостями, с которыми сопряжено руководство такой страной, как Россия.

И все же они прожили вместе счастливые годы, особенно первые, когда дети были маленькие. Но в самом ее характере было что-то вероломное и неустойчивое, потому что в 1932 году, когда Сталин угощал друзей за столом и сказал ей: «Эй ты, выпей с нами», не имея в виду ничего, кроме дружеского, безобидного приглашения, она взорвалась, невзирая на мужчин, его гостей. «Не смей мне эйкать!» — закричала она и в гневе выскочила из комнаты. Потом, в их кремлевской квартире...»

«Потом, в их кремлевской квартире», — повторил Троцкий-2, поднимая глаза от бумаги, когда моя пауза затянулась.

«Я устал, — сказал я. — На сегодня хватит. Мне показалось забавным посмотреть, как Троцкий для разнообразия пишет правду».

Троцкий-2 кивнул.

Не было смысла продолжать фразу и говорить, что позже, в нашей кремлевской квартире, она позволила себе наивысшую неверность, самоубийство, тем более что официальная версия была и остается, что она умерла от внезапной болезни. Если бы я продолжал и сообщил Троцкому-2 то, чего ему не нужно знать, он начал бы всерьез опасаться за свою жизнь и сделал бы какую-нибудь глупость. А он был нужен мне бодрым и здоровым.

«Вам идет этот белый костюм, — сказал я, — но вы слишком бледны. Поезжайте недельки на две на Черное море и позагорайте немного».

«Большое спасибо. Неплохо было бы посмотреть последнюю кинохронику о Троцком, как он сейчас двигается, гуляет, жестикулирует. Возможно ли это?»

«Неплохая идея. Я подумаю, что можно сделать. Поезжайте домой и поспите», — сказал я, отпуская его.

Хотя игра с Троцким-2 сначала меня забавляла, в конце от нее остался горький привкус. Она напомнила о последней ссоре с Надей. Это было по поводу инженера по фамилии Коварский, которого наградили орденом Ленина, а потом разоблачили как предателя и приговорили к смерти. Надя была одной из поклонниц Коварского, и ее мучила мысль об этом деле. Она начала наводить справки. Как мог патриот в одночасье стать предателем? Какие-то другие предатели, видимо, намекнули ей, что истинное предательство Коварского заключалось в недостаточном восхвалении Сталина на церемонии вручения ордена.

Она пришла ко мне в Кремль и потребовала встречи со мной. «Почему ты такое допускаешь?»

«Я тысячу раз говорил тебе не вмешиваться в эти дела».

«Ты знаешь, что он невиновен. И ты знаешь истинную причину, почему его приговорили к смерти».

Мы пристально посмотрели друг на друга. Наконец я сказал: «Чего ты хочешь?»

«Сделай что-нибудь с этим приговором».

«Хорошо, если ты настаиваешь».

Я снял телефонную трубку и позвонил Ягоде: «Приговор Коварскому привести в исполнение немедленно».

Бледная, вся дрожа, Надя сказала: «Теперь я вижу, кто ты есть, товарищ Сталин».

Этой ночью, после того как я попытался все это сгладить и пригласил выпить со мной и моими друзьями, она застрелилась в нашей кремлевской квартире. И все эти три года я не могу понять, как могла она так поступить с нашими детьми, с нашей семьей.

### **Какая неудача!**

Дело не только в том, что эти мексиканские идиоты провалили атаку на дом Троцкого, но я к тому же, как все, узнаю об этом из газет, потому что шифрованные телеграммы застряли где-то по дороге. Я ложусь спать уверенный в том, что проснусь в мире, где мой враг и его архивы перестали существовать, и узнаю, что опасность велика, как никогда раньше. Троцкий с новой силой погрузится теперь еще глубже в мою жизнь, понимая, что провальное нападение может лишь означать, что я не допущу провала следующей попытки.

Я сразу не вызвал ни Берию, ни Судоплатова. Пусть поерзают, представляя, как я ими недоволен. И наконец, когда телеграммы пришли и их расшифровали, говорить уже было не о чем. То, что произошло или не произошло, имеет сейчас только одно значение — не повторить одни и те же ошибки дважды.

В конце концов поздним вечером я вызвал Судоплатова к себе на дачу. Это было ближе к концу мая. Франция день ото дня должна была пасть.

Берия вошел первым, он выглядел огорченным, выражение его лица говорило, что он переживает так же сильно, как и я. Он него, как всегда, несло деше-

вым одеколоном, но теперь к этому запаху привыкалось что-то еще — терпкое, воняющее мочой — страх. Судоплатов выглядел разочарованным, но полным решимости.

Мы сели за маленький стол и выпили красного вина.

Посмотрев на Берию, я сказал: «Может быть, я ошибаюсь, но я всегда полагал, что функцией безопасности является безопасность. Провал налета ставит мою жизнь под угрозу. Если Троцкий предпримет сейчас что-то против меня, то произойти это должно теперь, когда свой шаг сделал я. Логично, не правда ли?»

«Да, товарищ Сталин», — ответил он, боясь как встретиться со мной глазами, так и отвести взгляд.

Затем, повернувшись к Судоплатову, я сказал: «Если говорить точно, почему провалилось нападение?»

«Нападение провалилось, потому что штурмовая группа состояла из крестьян, шахтеров и художников — а не профессионалов, имеющих опыт ликвидации намеченных людей. К сожалению, Эйтингон не принимал в этом участия».

«Почему?»

«Он хотел, чтобы это была чисто мексиканская операция; чтобы, в случае если кто-нибудь из налетчиков арестован, наша сеть не пострадала.

«Отчет Эйтингона у вас с собой?»

«Да, товарищ Сталин», — сказал Судоплатов.

«Читайте».

Судоплатов откашлялся и начал: «Группа из двадцати человек собралась в явочном доме на улице Куба на рассвете 23 мая 1940 года. Они были в полицейской и военной форме, частично украденной, частично сшитой специально. Они приехали на четырех автомобилях, имея при себе два ручных пулемета Томпсона, пистолеты, запас боеприпасов, полтора килограмма динамита, две зажигательные бомбы, раздвижную лестницу, циркулярную пилу.



Машины поставили в нескольких кварталах от дома Троцкого.

В те часы два наших товарища, Джулия и Анита, снимавшие квартиру неподалеку, устраивали вечеринку. Они под видом проституток соблазнили часть полицейских из группы в пять человек, что постоянно дежурила на посту напротив дома Троцкого.

Вечеринка у этих девушек лишила бдительности полицейских, их оказалось нетрудно связать и изолировать. Группа из двадцати человек, к которой присоединились другие, перерезала телефонные провода и тайную электрическую линию к сигналу в полицейском управлении. У ворот дома Троцкого дежурил Роберт Шелдон Харт, двадцатитрехлетний сын богатого нью-йоркского бизнесмена; он был скорее молодым искателем приключений, чем правоверным троцкистом. Его удалось перевербовать на нашу сторону. В четыре часа утра он впустил нападавших в ворота.

Дом Троцкого — Т-образной формы, одноэтажный, не считая двухэтажной наблюдательной вышки. Там же спала охрана. В соответствии с планом нападавшие разделились на пять групп. Одна заняла позицию у дверей, ведущих на башню. Остальные четыре — с четырех сторон спальни Троцкого, у дверей соседних комнат и у окон с двух сторон. В саму спальню войти было нельзя из-за приспособления, автоматически открывавшего огонь в сторону тех, кто попытался бы проникнуть внутрь. Одновременно во дворе была заложена зажигательная бомба, вторая — у архива в кабинете Троцкого. Был заложен и динамит, но таймер не был включен.

По сигналу Сикейроса группа у двери на башню открыла огонь, предупредив тем самым охрану, что ее не тронут, если они не окажут сопротивления. Согласно Харту, Троцкий в тот вечер работал допоздна над биографией товарища Сталина, потом

принял снотворное. Услышав выстрелы и проснувшись, он и его жена отреагировали мгновенно и спрятались под кровать. Секундой позже четыре группы, окружив спальню, открыли огонь из ручных пулеметов и пистолетов, выпустив за три-четыре минуты около ста пуль».

«Стреляли с четырех сторон! Чудо, что они не перестреляли друг друга», — сказал я.

«Продолжая стрелять, группа подожгла зажигательные бомбы и включила таймер динамитной бомбы. Два автомобиля Троцкого, в замках зажигания которых на случай чрезвычайных обстоятельств были ключи, были выведены за ворота и брошены в нескольких кварталах от дома, чтобы сделать преследование невозможным. Группе было необходимо захватить с собой Роберта Харта, который мог опознать налетчиков, а потом избавиться от него.

Ни одна из зажигательных бомб не причинила существенных повреждений.

Из-за технического дефекта динамитная бомба, по силе заряда способная уничтожить весь дом, не взорвалась.

Единственный ущерб, причиненный налетчиками, — легкая рана большого пальца ноги у внука Троцкого».

Я громко расхохотался. «Все: планирование, деньги, люди, оружие, автомобили, шлюхи, циркулярная пила — и мы нанесли удар в ахиллесову пяту Троцкого, палец ноги его внука!»

Берия и Судоплатов внимательно прислушивались к моему смеху, чтобы определить, в какой степени сквозивший в нем сарказм сулил им опасность и в какой — прощение. Если они слушали хорошо и их внимание не было искажено страхом, они уже должны были понять, что я готов к следующему этапу операции. Что меня беспокоило больше всего — отказ зажигательных бомб, установленных в архиве Троц-

кого. Если бы сработало хоть это, я мог бы отнестись ко всему как к небольшому успеху. Но ни один документ не пострадал.

В знак прощения я заказал нам легкий ужин — барашка в чесночном соусе, картофель, еще вина. Несколько минут мы ели молча, потом я спросил: «А что с нашим молодым любовником?»

«Рамоном?» — спросил Судоплатов.

«Да, Рамоном. Он уже побывал внутри дома. Он завоевал доверие некоторых сотрудников Троцкого».

«Его задача — по-прежнему собирать информацию», — сказал Берия.

«Задачи могут меняться, — сказал я, — особенно когда все другие провалены».

«Он убил ножом часового на мосту во время гражданской войны в Испании», — сказал Судоплатов.

«Согласно его личному делу, — сказал я, — он альпинист и в состоянии вырубить крупную глыбу льда своим ледорубом».

«Физически он на это способен, спору нет, — сказал Берия. — А вот психологически его придется подготовить».

«Кто пользуется влиянием на него?» — спросил я.

«Мать», — сказал Берия.

«А кто имеет влияние на нее?»

«Эйтингон».

«Они по-прежнему любовники?»

«Да».

«Тогда ясно, как надо действовать, — сказал я. — На этот раз Эйтингон будет вовлечен до самого конца. Никаких больше мексиканцев, никаких художников».

«Да, товарищ Сталин», — сказали почти в унисон Берия с Судоплатовым.

«Вижу по выражению вашего лица, что у вас есть вопрос», — сказал я Судоплатову.

«Вовлечение Эйтингона может поставить под угрозу провала всю нашу агентурную сеть внутри троцкистского движения и...»

Я его оборвал. «Нет Троцкого, нет и троцкистов. Ликвидация Троцкого будет означать полный крах троцкистского движения».

«А наши агенты?» — спросил Судоплатов.

«Как я люблю говорить, — сказал я, глядя на них обоих сразу, — незаменимых у нас нет».

Оба опустили головы.

«Эйтинггона надо информировать о новом плане. Сообщите ему, что моя вера в него не уменьшилась. Эйтинггон несет личную ответственность за спасение Рамона. Однако, если Рамон не сумеет скрыться из дома Троцкого, у него при себе должно быть письмо, объясняющее его мотивы. Мы должны разыграть любовную карту — Троцкий был против брака Рамоны и Сильвии Агелоф».

«Еще можно добавить, что, как бизнесмен с политическими пристрастиями, он пожертвовал деньги на дело троцкистов, но узнал, что они тратятся на личные нужды Троцким и его окружением», — сказал Судоплатов.

«Хорошо», — согласился я.

«И в-третьих, — сказал Берия оживившись, — Троцкий пытался завербовать Рамона в интернациональную террористическую бригаду для покушения на товарища Сталина».

«Браво!» — сказал я, давая Берии понять, что он удостоен частичного прощения.

Когда они уходили, я взял Берию за рукав и, заглянув в его совиные глаза, прошептал: «Лаврентий, мой дорогой, у тебя есть ровно сто дней».

**Полковник Салазар, глава мексиканской тайной полиции, ответственный за расследование нападения на виллу Троцкого, задает тот же вопрос, что и я.**

Как это возможно, что более двадцати хорошо вооруженных людей, выпустив сотню патронов и заложив три бомбы, прострелили лишь палец на ноге мальчика? Салазар приходит к поразительно неверному выводу: налет был организован самим Троцким, чтобы вызвать симпатию к себе и своему делу либо чтобы предупредить следующее нападение людей Сталина. Поэтому Троцкий вынужден теперь тратить часы на споры с полицией и на самозащиту в прессе. Часы, которые можно было бы потратить на копание в архивах, где вполне может оказаться настоящая бомба, если только он знает, где и как искать.

Что мне более всего ненавистно в операции «Утка» — как далеко все и вся. Все главные игроки — Троцкий, Рамон, Каридад, Эйтингон — для меня лишь темные тени, силуэты, как те люди, на которых я смотрел с крыши здания на Эриванской площади во время банковского ограбления. Удивительно, что Камо, мой протеже, ворвавшийся верхом на коне на площадь в форме царского офицера и схвативший мешок с деньгами, оказался одним из героев

Рамона. Это хороший знак. Рамон тоже хочет совершать смелые подвиги ради дела, что лишний раз доказывает: история делается умными стариками, эксплуатирующими глупость молодых.

Рамону еще не сказали, что его задание изменилось от наблюдения к убийству. Каридад противится этой идее. Один из ее сыновей уже отдал свою жизнь в гражданской войне в Испании, и, хотя она понимает важность задания, она не хочет потерять второго.

Однако блистательный Эйтингон выискал ее роковой изъян. Чего же больше всего хочет эта неукротимая богема и пламенная революционерка, что ей нужно больше всего на свете? Замужество. Она одинока, она влюблена. Несмотря на то что у Эйтингона есть уже две или три жены, он обещает жениться на Каридад, при условии, конечно, что она убедит Рамона взять на себя честь устранения Троцкого.

Все еще не зная своего нового задания, Рамон через четыре дня после неудачного налета, 28 мая 1940 года, посещает виллу с очередным банальным, связанным с его «бьюиком» поручением. На этот раз он предложил подвезти Розмеров, которым нужно в Веракрус, откуда они отплывают во Францию.

Он прибывает в 7.58 утра. Троцкий возится с цыплятами и кроликами. Рамон болтает с Троцким, который жалуется ему, как трудно найти нужный, научно-сбалансированный, корм для кроликов. Рамон соглашается с ним, говорит, что без такого корма желудки кроликов раздуваются. Точно отмеряя время и доказывая этим, что он не хочет навязываться Троцкому, Рамон здоровается с его внуком, вышедшим на двор и чуть прихрамывающим из-за ранения. Рамон принес ему в подарок планер, сделанный из бальзового дерева. Он учит мальчика, как сделать, чтобы самолет взмывал вверх и нырял вниз. Они по очереди бегают по двору за летящим планером, потом Рамон его отцепляет, когда планер запутывается на одном из кактусов, которые разводит Троцкий.

Троцкий наблюдает. Может быть, в этот момент он только дедушка, радующийся утреннему солнцу.

Прыгая с внуком Троцкого, Рамон делает снимки своей маленькой потайной камерой. Уже начались строительные работы, чтобы повисить безопасность виллы. Дверь в сарай плотно закрыта.

Троцкий как хороший хозяин приглашает молодого человека к завтраку, Рамон делает новые снимки. Троцкий выглядит постаревшим, потрясенным, разгневанным. Как всегда, он говорит без умолку. Ограничиваясь лишь вежливыми светскими репликами, к которым он привычен, Рамон спрашивает Троцкого, как продвигается его работа.

«Времени всегда не хватает, — говорит Троцкий. — Похоже, что Франция вот-вот капитулирует перед нацистами, и мне придется писать и об этом тоже. Полиция не оставляет меня в покое со своими расспросами. Но сегодня, Франция или не Франция, полиция или не полиция, я возвращаюсь к работе над книгой о Сталине».

«Когда мы увидим ее в печати?» — спрашивает Рамон.

«Скоро, она неплохо продвигается, — говорит Троцкий. — И все же... знаете, как бывает, уедешь путешествовать — и такое чувство, что забыл что-то очень важное, но никак не можешь вспомнить, что именно. Такое же чувство у меня при работе над книгой».

«Может быть, вспомнится», — говорит Рамон.

«Может быть, — говорит Троцкий, поднимаясь из-за стола и давая понять, что пора приступить к работе. Повернувшись к жене, он говорит с грустной улыбкой: — Еще один день, Наташа, благодаря любезности Сталина!»

Нам теперь не нужен никто внутри, мы и так знаем, что фортификация виллы Троцкого идет полным ходом. Стены становятся выше, снабжаются проводами, идущими к звуковым сигналам, их иногда

приводят в действие салящиеся на них голуби. Благожелатели прислали Троцкому в подарок пуленепробиваемый жилет и сирену. Двери и окна спальни защищены стальными пластинами. Троцкого раздражает маталлическое клацанье. «Оно напоминает мне первую тюрьму, в которой я сидел, — говорит он. — Дверь издает точно такой же звук».

9 июня Рамон должен приехать в Нью-Йорк для отчета Эйтингону. Но более важная встреча предстоит ему с матерью. 12 июня Рамон сделал очень умный шаг. Он ненадолго зашел на виллу и оставил там свой «бьюик», чтобы им могли в его отсутствие пользоваться сотрудники Троцкого или сам Троцкий, который иногда выезжает к дантисту или погулять в горах. Это умный шаг, потому что этим он еще больше входит в доверие и дает отличный банальный повод вернуться на виллу — забрать машину.

Только два человека знают, что на самом деле произошло в той комнате в Нью-Йорке. Действующие лица — Рамон и его мать Каридад. Каридад пересказала разговор Эйтингону как руководителю и любовнику — смесь отчета и постельного разговора.

«Рамон, — сказала она. — Товарищ Сталин лично выбрал тебя для выполнения задания. Это колоссальная ответственность. Ты войдешь в историю».

«Я не хочу этого деда».

«Почему?»

«Троцкий безобиден, он мне начинает нравиться».

«Он отнюдь не безобиден. Это единственный человек, которого боится Сталин. Нравится он тебе или нет, не имеет значения. Тебе мог понравиться часовой, которого ты убил на том мосту в Испании, если бы узнал его поближе».

«Тогда была война».

«Это тоже война».

«Но Троцкий — старик».

«Ему столько же лет, как и Сталину».



«Но в этом есть что-то бесчестное — пить с ним чай, играть с его внуком...»

«В Испании мы убивали троцкистов. Теперь мы убиваем Троцкого. Это большая честь».

«Не знаю, смогу ли я с собой совладать».

«Ты мой сын?»

«Да, мама».

«Значит, ты сможешь совладать с собой».

«Но кто я в действительности? Просто плейбой, я люблю женщин, машины, вкусную еду. Мне этого хватает сверх головы».

«Ты прав, пока ты только плейбой. Теперь тебе дается шанс стать мужчиной, настоящим мужчиной, героем. Или ты навсегда хочешь остаться мальчиком?»

«Нет, мама».

«Значит, ты это сделаешь?»

«Я не могу».

«Послушай меня, Рамон. Все, ради чего я жила, зависит от этого. Ты видел маленький пистолет, который я ношу в сумочке?»

«Да».

«Если ты не возьмешь это на себя, я не переживу позора. Клянусь, я выстрелю себе в голову. Или ты убьешь Троцкого, или ты убьешь свою мать, потому что на спусковом крючке того пистолета будет твой палец. Ты понимаешь, Рамон?»

«Да, мама».

Рамон возвращается в Мехико в июле и делает еще один умный шаг — или это просто желание отдалить неизбежное? — он в течение нескольких недель не появляется на вилле. Должно быть, это попытка потянуть время, потому что все другие рапорты о его поведении тоже отнюдь не обнадеживают. Он целыми днями сидит взаперти в номере гостиницы, отказываясь от встреч с Сильвией Агелоф или споря с ней. Эйтингон сообщает, что Рамон бледен и стал болезненно нервным.

Наконец 29 июля он приходит в себя и заезжает за «бьюиком», берет с собой Сильвию. Он говорит что-то невнятное охране, вроде того, что новые стены не помогут и Сталин прибегнет к другим методам, но та, как и все на вилле, не относится к нему серьезно, особенно после того, как он сказал, что ни разу не был в штаб-квартире троцкистов в Нью-Йорке. Поскольку Рамон недавно проявил интерес к политическим взглядам Троцкого и даже сделал в его пользу финансовые пожертвования (чтобы потом он мог сказать, что его деньги использовались на личные, а не на политические цели), это заявление воспринимается охраной как крайне фривольное. Когда об этом сообщили Троцкому, тот сказал о Рамоне: «Верно, конечно, что он довольно легкомыслен и, наверное, никогда не станет твердым сторонником Четвертого Интернационала, все же его можно привлечь на нашу сторону. Чтобы построить партию, надо верить, что людей можно изменить».

Рамон и в самом деле, похоже, меняется. Теперь во время участвовавших визитов на виллу в обществе Сильвии он принимает участие в политических разговорах, сначала соглашаясь с очень скромной ролью. Сильвия гордится, что преуспела в перевоспитании своего аполитичного друга в нечто похожее на троцкиста. Рамону даже удается остаться самим собой в последних диспутах. Часть американской троцкистской партии теперь порвала с Троцким, который утверждает, что сталинская Россия по-прежнему, хотя бы потенциально, является государством рабочих и ее следует защищать во что бы то ни стало. Сильвия придерживается «американской позиции», считая, что сталинскую Россию не следует защищать, потому что она дегенерировала в бюрократическую тиранию. В споре Рамон поддерживает Троцкого. Можно ли представить себе что-нибудь более забавное? Троцкий солидаризируется со Сталиным, и в этом его поддерживает Рамон!

**Наконец это случилось.**

Троцкий знает. Он в конце концов сложил все элементы воедино. *Это* больше не секрет.

Сегодня утром зашифрованной телеграммой я получил часть той бомбы, которую Троцкий спешит напечатать в виде статьи в американском журнале:

«В этой статье я хочу рассказать некоторые не совсем обычные факты из истории превращения провинциального революционера в диктатора великой страны. Мысли этой статьи и высказанные в ней подозрения созрели во мне не сразу. Поскольку они появлялись у меня ранее, я гнал их как продукт чрезмерной мнительности. Но Московские процессы, раскрывшие за спиной кремлевского диктатора адскую кухню интриг, подлогов, фальсификаций, отравлений и убийств из-за угла, отбросили зловещий свет и на предшествовавшие годы. Я стал более настойчиво спрашивать себя: какова была действительная роль Сталина в период болезни Ленина? Не принял ли ученик кое-каких мер для ускорения смерти учителя?»

Лучше, чем кто-либо, я понимаю чудовищность такого подозрения. Но что же делать, если

они вытекают из обстановки, из фактов и особенно из характера Сталина. Ленин с тревогой предупреждал в 1921 году: «Этот повар будет готовить только острые блюда».

Оказалось, не только острые, но и отравленные...

Да будет позволено прибавить, что каждый упоминаемый мною факт, каждая ссылка и цитата могут быть подкреплены либо официальными советскими изданиями, либо документальными, хранящимися в моем архиве...

Во время второго заболевания Ленина, видимо в феврале 1923 года, Сталин на собрании членов политбюро (Зиновьева, Каменева и автора этих строк) после удаления секретаря сообщил, что Ильич вызвал его неожиданно к себе и потребовал доставить ему яду. Он снова терял способность речи, считал свое положение безнадежным, предвидел близость нового удара, не верил врачам, которых без труда уловил на противоречиях, сохранял полную ясность мысли и невыносимо мучился. Я имел возможность изо дня в день следить за ходом болезни Ленина через нашего общего врача Гетье, который был вместе с тем нашим другом дома.

— Неужели же... это конец? — спрашивали мы с женой его не раз.

— Никак нельзя этого сказать; Владимир Ильич может снова подняться — организм мощный.

— А умственные способности?

— В основном останутся не затронуты. Не всякая нота будет, может быть, иметь прежнюю чистоту, но виртуоз остается виртуозом.

Мы продолжали надеяться. И вот неожиданно обнаружилось, что Ленин, который казался воплощением инстинкта жизни, ищет для себя яду. Каково должно быть его внутреннее состояние!

Помню, насколько необычным, загадочным, не отвечающим обстоятельствам показалось мне

лицо Сталина. Просьба, которую он передавал, имела трагический характер; на лице его застыла полуулыбка, точно на маске. Несоответствие между выражением лица и речью приходилось наблюдать у него и прежде. На этот раз оно имело совершенно невыносимый характер. Жуть усиливалась еще тем, что Сталин не высказал по поводу просьбы Ленина никакого мнения, как бы выжидая, что скажут другие: хотел ли он уловить оттенки чужих откликов, не связывая себя? Или же у него была своя затаенная мысль?..

— Не может быть, разумеется, и речи о выполнении этой просьбы! — воскликнул я. — Гетье не теряет надежды. Ленин может поправиться.

— Я говорил ему все это, — не без досады возразил Сталин, — но он только отмахивается. Мучается старик. Хочет, говорит, иметь яд при себе... прибегнет к нему, если убедится в безнадежности своего положения

— Все равно невозможно, — настаивал я, на этот раз, кажется, при поддержке Зиновьева. — Он может поддаться временному впечатлению и сделать безвозвратный шаг.

— Мучается старик, — повторял Сталин, глядя неопределенно мимо нас и не высказываясь по-прежнему ни в ту, ни в другую сторону...

Голосования не было, совещание не носило формального характера, но мы разошлись с собой разумеющимся заключением, что о передаче яду не может быть и речи.

Здесь естественно возникает вопрос: как и почему Ленин, который относился в этот период к Сталину с величайшей подозрительностью, обратился к нему с такой просьбой, которая на первый взгляд предполагала высшее личное доверие? За несколько дней до обращения к Сталину Ленин сделал свою безжалостную приписку к Завещанию. Через несколько дней после обращения он порвал с ним все отношения. Ста-

лин сам не мог не поставить себе вопрос: почему Ленин обратился именно к нему? Разгадка проста: Ленин видел в Сталине единственного человека, способного выполнить трагическую просьбу, ибо непосредственно заинтересованного в ее исполнении. Своим безошибочным чутьем больной угадывал, что творится в Кремле и за его стенами и каковы действительные чувства к нему Сталина. Ленину не нужно было даже перебирать в уме ближайших товарищей, чтобы сказать себе: никто, кроме Сталина, не окажет ему этой услуги. Попутно он хотел, может быть, проверить Сталина: как именно мастер острых блюд поспешит воспользоваться открывающейся возможностью».

Да, Ленин, возможно, хотел меня испытать. Я думал об этом тогда. Даже хотя мы сидели в помещении, на Ленине была его кепка.

«Кажется, это та самая кепка, которую вы носите многие годы», — сказал я.

«Много лет».

«Холодно?»

«Нет».

«Тогда почему же?»

«Она приносит мне удачу, — сказал он, иронически усмехнувшись. Речь давалась ему с трудом. Он выбирал короткие слова. — Много лет назад, — продолжил он, точно подзарядившись от внутреннего динамо, — старый крестьянин сказал мне, что я умру от удара. Почему вы так говорите? — спросил я. — Из-за вашей толстой шеи, — сказал он. Тогда я рассмеялся, а теперь посмотрите на меня: старый крестьянин был прав».

«Нет, неправ, — сказал я. — Вы все еще с нами»

«Едва-едва. Скажу вам одно: если я не смогу двигаться, не смогу говорить, я предпочту с этим покончить. Просто сидеть в кресле с идиотским выражением лица — нет, это не для меня».

«Да и я бы такого не захотел».

«Для меня или для себя?»

«Для обоих».

«Спросите своего дружка Ягоду, что у него есть быстрого и безболезненного — на всякий случай».

«Хорошо, — сказал я. — На всякий случай. А пока не снимайте свою счастливую кепку».

Что меня бесит в этом последнем фрагменте сочинения Троцкого — это внезапный обрыв текста, без всякого указания на документы из архива. Обвинение отвратительно само по себе; доказательства могут быть фатальны. Так что же у него есть в архивах?

Я велел немедленно послать Эйтингону закодированную телеграмму со следующей инструкцией:

**1. ВСЕ, ЧТО ПИШЕТ ТРОЦКИЙ, ДОЛЖНО БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ПРИСЛАНО МНЕ ПО ТЕЛЕГРАФУ.**

**2. УСКОРЬТЕ СРОКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ РАМОНА В ОКРУЖЕНИЕ ТРОЦКОГО. ДАТА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НАЗНАЧЕНА И СОБЛЮДЕНА.**

Последние донесения о Рамоне противоречивы. С одной стороны, жена Троцкого Наташа ему симпатизирует. Рамон сейчас ухаживает за ней, как ухаживают за старыми дамами при дворе, с цветами и шоколадом, комплиментами и мелкими услугами. С другой стороны, Рамон опасно пренебрегает своей легендой. Он рассказывает людям, что занимается проектом дорожного строительства, другим — что кокосовым маслом, и третьим — что покупает за алмазы сахар и нефть. До меня дошли слухи, что, катая делегацию американских троцкистов в своем «бьюике», он чуть не сорвался с машиной с обрыва, успев затормозить в последнюю секунду и сказав: это положило бы конец всему предприятию.

Неуравновешенное поведение. Наверное, сказывается напряжение. Он может сломаться. Этого не дол-

жно случиться, особенно сейчас, когда Троцкий вот-вот обнародует свое открытие миру. Но и это не будет значить слишком много, если Троцкий будет мертв и не сможет занять мое место.

Сейчас самое подходящее время завершить операцию «Утка». Все еще не пришедший в себя после падения Франции, мир поглощен теперь битвой за Британию. Лондон в огне, немецкие и английские самолеты сражаются ежедневно в английском небе. Черчилль превозносит пилотов королевских военно-воздушных сил. «Никогда прежде в человеческих конфликтах не были обязаны всем столь многие столь немногим». Америка, Англия и Франция слишком поглощены своими проблемами, чтобы обеспокоиться смертью старого коммуниста в Мексике.

\* \* \*

Пришла еще одна стопка бумаг. Троцкий связывает теперь последний Московский процесс со смертью Ленина. Это было неизбежно. Как только он ухватил главную идею, остальное следует само собой.

«Свыше десяти лет до знаменитых Московских процессов он за бутылкой вина на балконе дачи летним вечером признался своим тогдашним союзникам... что высшее наслаждение в жизни — это зорко наметить врага, тщательно все подготовить, беспощадно отомстить, а затем пойти спать. Теперь он мстит целому поколению большевиков! Возвращаться здесь к московским судебным подлогам нет основания. Они получили в свое время авторитетную и исчерпывающую оценку. Но, чтоб понять настоящего Сталина и его образ действий в дни болезни и смерти Ленина, необходимо осветить некоторые эпизоды последнего большого процесса, инсценированного в марте 1938 года. Особое место на



скамье подсудимых занимал Генрих Ягода, который работал в органах 16 лет, сперва в качестве заместителя начальника, затем в качестве главы все время в тесной связи с «генеральным секретарем» как его наиболее доверенное лицо по борьбе с оппозицией. Система покаяний в несовершеннолетних преступлениях есть дело рук Ягоды, если не его мозга. В 1933 году Сталин награждал Ягоду орденом Ленина, в 1935 году возвел его в ранг генерального комиссара, т. е. маршала политической полиции... В лице Ягоды возвышалось заведомое для всех и всеми презираемое ничтожество. Старые революционеры переглядывались с возмущением. Даже в покорном политбюро пытались сопротивляться. Но какая-то тайна связывала Сталина с Ягодой, и, казалось, навсегда. Однако таинственная связь таинственно оборвалась. Во время большой «чистки» Сталин решил попутно ликвидировать сообщника, который слишком много знал. В апреле 1937 года Ягода был арестован. Как всегда, Сталин добился при этом некоторых дополнительных выгод: за обещание помилования Ягода взял на суде личную ответственность за преступления, в которых молва подозревала Сталина. Обещание, конечно, не было выполнено: Ягоду расстреляли...

На судебном процессе вскрылись, однако, крайне поучительные обстоятельства. По показанию его секретаря и доверенного лица... Ягода имел особый шкаф ядов, откуда по мере надобности извлекал драгоценные флаконы и передавал их своим агентам с соответственными инструкциями. В отношении ядов начальник ГПУ, кстати сказать, бывший фармацевт, проявлял исключительный интерес. В его распоряжении состояло несколько токсикологов, для которых он воздвиг особую лабораторию, причем средства на нее отпускались неограниченно и без контроля...

В судебном процессе 1938 года Сталин выдвинул против Бухарина как бы мимоходом об-

винение в подготовке покушения на Ленина в 1918 году. Наивный и увлекающийся Бухарин благоговел перед Лениным... У Бухарина, мягкого, как воск, по выражению Ленина, не было и не могло быть самостоятельных честолюбивых замыслов. Если бы кто-нибудь предсказал нам в старые годы, что Бухарин будет когда-нибудь обвинен в подготовке покушения на Ленина, каждый из нас (и первый — Ленин) посоветовал бы посадить предсказателя в сумасшедший дом. Зачем же понадобилось Сталину насквозь абсурдное обвинение? Зная Сталина, можно сказать с уверенностью: это — ответ на подозрения, которые Бухарин неосторожно высказывал относительно самого Сталина. Все вообще обвинения Московских процессов построены по этому типу. Основные элементы сталинских подлогов не извлечены из чистой фантазии, а взяты из действительности, большей частью из дел или замыслов самого мастера острых блюд...

Ленин потребовал яду — если он вообще требовал его — в конце февраля 1923 года. В начале марта он оказался уже снова парализован. Медицинский прогноз был в этот период осторожно-неблагоприятный. Почувствовав прилив уверенности, Сталин действовал так, как если бы Ленин был уже мертв. Но больной обманул его ожидания. Могучий организм, поддерживаемый непреклонной волей, взял свое. К зиме Ленин начал медленно поправляться, свободнее двигаться, слушал чтение и сам читал; начала восстанавливаться речь. Врачи давали все более обнадеживающие заключения...

Для Сталина вопрос шел... об его собственной судьбе: либо ему теперь же, сегодня удастся стать хозяином аппарата, а следовательно — партии и страны, либо он будет на всю жизнь отброшен на третьи роли. Сталин хотел власти, всей власти во что бы то ни стало. Он уже креп-

ко ухватился за нее рукою. Цель была близка, но опасность со стороны Ленина — еще ближе. Именно в этот момент Сталин должен был решить для себя, что надо действовать безотлагательно. У него везде были сообщники, судьба которых была полностью связана с его судьбой. Под рукой был фармацевт Ягода... Сталин не мог пассивно выжидать, когда судьба его висела на волоске, а решение зависело от маленького, совсем маленького движения его руки».

Но я не мог сделать это маленькое, совсем маленькое движение моей руки просто так. Если бы речь шла о ком-то другом, кроме Ленина, моя рука бы не дрогнула. Но Ленин! Дело было не только в моем преклонении перед этим человеком, в годах, проведенных вместе, во всем, через что мы прошли. Это была и опасность потерять все, власть, собственную жизнь. Если хоть один намек о моей причастности к смерти Ленина достигнет Троцкого и остальных, наступит моя очередь получить пулю в затылок. Но если я не стану действовать, меня действительно «отбросят на третьи роли» до конца моих дней.

Я не мог ни на чем сосредоточиться. Я курил, я часами сидел один у себя в кабинете, смотря на бумаги, казавшиеся теперь бессмысленными.

Наконец, однажды поздно ночью я вышел прогуляться по Красной площади, велел охране держаться от меня подальше, хотя в те дни и в такой час суток больших оснований чего-то бояться не было. Я остановился у Лобного места, где традиционно читались царские указы и где, по новомодной выдумке, в старые времена обезглавливали людей, и на мгновение представил себе ощущение холодного камня, если моей голове суждено будет вскоре лежать на плахе. Потом я посмотрел на подсвеченные купола собора Василия Блаженного, но на этот раз вспомнил не архитектора, которого обезглавил Иван Гроз-

ный, а сына, которого Иван убил, заподозрив его в предательстве. Это свело его с ума. Есть такие преступления, с которыми ум не может примириться. На этот раз Иван не мог быть моим героем. Даже Иван подвел меня в час крайней нужды. У меня не осталось надежды. У меня, который начинал, ведомый надеждой. У меня, кто когда-то был поэтом надежды. Этот ход мысли пробежал в моем мозгу, потому что в следующее мгновение мои губы зашевелились по мере того, как написанное тридцать лет назад стихотворение возникло в памяти:

*И знай, — кто пал, как прах, на землю,  
Кто был когда-то угнетен,  
Тот станет выше гор великих,  
Надеждой яркой окрылен.*

Сначала я отмахнулся от этих воспоминаний. Но потом посмотрел глубже. Все-таки это говорила моя душа. Надежда моей юности. Предам ли я мою юность, мои мечты, самого себя и позволю превратить свою жизнь в руины?

Я вызвал Ягоду немедленно, Ягоду, которого через тринадцать лет буду лично допрашивать, ослепляя его глаза софитами, в подвале Лубянки.

В тот раз мы встретились тоже на Лубянке, в одной из его подвальных лабораторий, где стоял запах жженого спирта и едких химикатов.

«Добро пожаловать в мою аптеку», — сказал Ягода с улыбкой, призванной снять напряжение. Ночной вызов мог означать какой-то кризис, он это хорошо понимал. Но улыбка всегда казалась неуместной на его лице гончей с как бы приклеенными усиками.

«Вы были фармацевтом и до революции?»

«Да».

«Еврейская профессия».

«Да уж».

«Но в новой России евреи могут занимать более высокое положение».

«И грузины тоже».

«Да, и грузины тоже. Возможно, что некий еврей и некий грузин могли бы, работая вместе, подняться очень высоко».

«На какую высоту может подняться некий еврей?»

«Этот еврей может оказаться не служащим учреждения, расположенного на Лубянской площади, а его главой».

«Настолько высоко?»

«Настолько».

«А насколько высоко может подняться некий грузин?»

«Этот грузин может стать хозяином другого здания, того, что в Кремле».

«И чем же может этот еврей помочь этому грузину?»

«Когда нужно было сделать что-нибудь грубое — скажем, ограбить банк — некий русский лидер всегда обращался к этому грузину за помощью. В какой-то момент этот русский перенес удар и начал опасаться, что он потеряет дар речи и способность двигаться, а он скорее готов умереть, чем допустить такое. Поэтому он попросил этого грузина достать ему яду, чтобы был под рукой на случай, если он сам почувствует, что становится беспомощным».

«Поэтому этот грузин хочет, чтобы этот еврей дал ему яд для того русского?»

«Не совсем так».

«А как?»

«Русскому надо дать яд, но не так, как он того пожелал».

«Понимаю. Думаю, что понимаю».

«Разница практически невелика. Просьбу его, конечно, нужно уважить, но так, чтобы это послужило интересам дела, которому он отдал всю свою жизнь, — а он сам хотел бы именно этого».

«Конечно».

«Так вот, поскольку этот русский стал очень внимателен к тому, что он ест, и требует, чтобы все

ели вместе с ним, то возникает вопрос: есть ли другие способы уважить его просьбу?»

«Видите ли, — сказал Ягода, — самым большим органом тела является кожный покров. Есть некоторые соединения, которые проникают через кожу, хотя на это нужно время и повторные процедуры».

«Сработают ли эти соединения, если использовать их, скажем, на внутренней ленте любимой кепки?»

Конечно. Но я слышал еще и то, что этому русскому изготовили специальный ортопедический ботинок. Вы только должны помнить, что мельчайшие частицы могут быть обнаружены при вскрытии».

«Об этом я позабочусь сам».

«Что-нибудь еще?»

«Те, кто работают в том доме, где живет этот русский, — садовники, повара, прачки, — это все ваши люди?»

«Конечно».

«Когда все будет позади, все причастные должны быть сразу же обвинены в преступлениях, за которые полагается высшая мера».

«Можете не сомневаться».

Я не боюсь, что разговор записывался или что Ягода потом сделал заметки и где-то их припрятал. Если бы эти записи у него были, он использовал бы их как козыри, когда я допрашивал его на Лубянке. Но, поглощенный борьбой за власть после смерти Ленина, я положился на Ягodu в смысле ликвидации причастных. Людей из лаборатории. Тех, кто доставил означенное средство в дом, где жил Ленин. Тех, кто втирал ежедневную дозу во внутреннюю ленту ленинской кепки или в ортопедический ботинок. Действительно ли их ликвидировали? Не упустил ли кого-нибудь Ягода, не пощадил ли? И если да, то где теперь этот человек? Уж не в Мексике ли?

Согласно последним донесениям из Мексики, Троцкий в последнее время не принимал никаких

необычных посетителей. Но это ничего не доказывает. Троцкий не захотел бы, чтобы тот, кто может дать показания о смерти Ленина, появился на его вилле. Любые свидетели или соучастники, наверное, надежно спрятаны в Нью-Йорке.

Фактически в жилище Троцкого воцарилось необычное спокойствие — старик отдает всего себя без остатка статье о том, как я отравил Ленина. Последним заметным посетителем был Рамон, который 31 июля привез жене Троцкого коробку шоколада, затем 8 августа приехал с Сильвией Агелоф и пил чай с Троцкими, где снова завязался разговор о политике. Теперь Рамон еще более яростно поддерживает Троцкого. Троцкий проникся симпатией к Рамону, хотя из-за его сумасбродного поведения многие на вилле хмурят брови.

Если Рамон сейчас сломается, головы покатаются от Мехико до Москвы. Я вызываю Берию.

«Лаврентий, какое сегодня число?» — спрашиваю я.

«Сегодня? 9 августа 1940 года».

«А какого числа состоялся налет Сикейроса?»

«23 мая».

«Правильно. И сколько же дней я тебе дал после этого для ликвидации Троцкого?»

«Сто».

«Сколько осталось?»

«Три недели и один день».

«Рамон не справляется с нервами?»

«Он будет молодцом».

«Ловлю тебя на слове».

«Эйтингон не спускает с него глаз. И его мать тоже».

«У меня родилась идея. Фактически две. Одна связана с тем, что писал Троцкий на борту парохода по дороге в Мексику. Он писал: «Сталин не обрушивается на идеи оппонентов, он предпочитает черепную коробку».

Берия одобрительно хмыкает.

«Я согласен, — говорю я, — неплохая фраза. Но это навело меня на размышления. Мы знаем, что Троцкий возражает против обыска людей, посещающих виллу. Рамон — альпинист. Почему бы ему не пронести ледоруб под пальто или в портфеле?»

«Это идея, — говорит Берия. — Но это связано с... массой прямых физических действий. Преимущество пистолета в том, что нажимаешь пальцем на небольшую металлическую деталь, и — бам! — клиент готов»

«Пусть захватит пистолет тоже».

«Ледорубом Рамон сможет воспользоваться, если они будут одни. Пистолет годится где угодно».

«Верно, — говорю я. — Но тут-то и годится моя вторая идея. Что больше всего на свете обожает Троцкий? Больше всего на свете он обожает поучать. Он даже сказал, что подумывает принять Рамона в свою организацию, хотя и находит его легкомысленным».

«И что?»

«Троцкий думает, что Рамон политизировался благодаря общению с ним. Пусть Рамон попробует что-нибудь написать, не знаю, скажем, о падении Франции. Троцкий, возможно, окажет ему честь, пригласив к себе в кабинет для обсуждения статьи. Когда они окажутся одни, то мне будет все равно, как Рамон это сделает — ледорубом, пистолетом, ножом, — лишь бы сделал. Ты видел последнюю клевету, которую сварганил Троцкий?»

«Видел. Отвратительно».

«И опасно. Лаврентий, еще до твоего прихода органы пользовались кодовым именем «Иуда» для Троцкого. Давай все слегка перемешаем. Пусть Троцкий будет Иисусом, а Рамон сыграет роль Иуды».

«Твоя мать недаром говорила, что тебе надо было стать священником».

Я улыбаюсь.

«Три недели и один день».



Инструкции относительно Рамона немедленно передаются Эйтингону. Рамон должен написать статью о расколе троцкистов во Франции, приличную, чтобы заинтересовать Троцкого, но с достаточным количеством ляпов, чтобы сработал инстинкт Троцкого всех учить.

Дела движутся. Троцкий взял наживку. 17 августа Рамон прибыл в назначенное ему время, чтобы показать статью Троцкому. После обычных пустых разговоров у клетки с кроликами оба идут в кабинет, и Троцкий садится за письменный стол.

Там и тогда это должно было произойти. Я понимаю, что нужно готовиться, репетировать. Но некоторые возможности предоставляются только один раз. В недавнее время Рамон позволил себе несколько несдержанных замечаний, которые насторожили троцкистов. Он предложил инвестировать деньги в троцкистское движение, что совсем не понравилось Троцкому. Он также допустил ошибку, сев на край стола Троцкого, пока тот читал рукопись, о которой позднее отозвался как скучной и путаной. Почему наши люди не могли написать что-нибудь получше? И еще, Троцкому не понравилось неуважение, проявленное Рамоном, когда он сел на край его письменного стола, хотя из вежливости не подал вида. Но я понимаю. У Рамона свои потребности. Некоторые вещи делаются для души. Важно то, что Рамон договорился о еще одном визите к Троцкому 20 августа — показать рукопись с исправлениями по замечаниям Троцкого. В этом Троцкий не мог ему отказать.

Рамон принесет свой ледоруб, спрятав его в плаще, и захватит пистолет — либо чтобы пристрелить Троцкого, либо вырваться с территории виллы. Две автомашины будут ждать Рамона, в одной будет его мать, в другой — Эйтингон. Если все пойдет в соответствии с планом, Рамон убьет Троцкого ледорубом, не дав ему возможности схватить заряженный

пистолет, который всегда лежит у него на столе, или нажать на сигнал тревоги. Рамон сможет спокойно выйти из ворот и уехать на своем «бьюике», затем пересесть в одну из двух ожидающих его машин, которая доставит его в аэропорт; там его будет ждать частный самолет и новый паспорт. Но разве когда-нибудь все идет по плану?

Конечно, я хочу, чтобы Рамон исчез целым и невредимым, но главное в том, чтобы он убил Троцкого, который сейчас занимается последним элементом сложной мозаики.

Троцкий теперь понял, что телеграмма, которую я ему послал и в результате которой он пропустил похороны Ленина, была не только рассчитана на то, чтобы обесчестить его политически.

В последней части своей статьи, которая мне доставлена, Троцкий цитирует эту телеграмму: **«ПОХОРОНЫ СОСТОЯТСЯ В СУББОТУ, НЕ УСПЕЕТЕ ПРИБЫТЬ ВОВРЕМЯ. ПОЛИТБЮРО СЧИТАЕТ, ЧТО ВАМ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ НЕОБХОДИМО ЕХАТЬ В СУХУМ. СТАЛИН».**

Ему понадобилось на это шестнадцать лет, но он наконец понял и почему его устранили от похорон, и истинную причину немедленного бальзамирования Ленина:

«Сталин... мог бояться, что я свяжу смерть Ленина с прошлогодней беседой о яде, поставлю перед врачами вопрос, не было ли отравления, потребую специального анализа. Во всех отношениях было поэтому безопаснее удержать меня подалее до того дня, когда оболочка тела будет бальзамирована, внутренности сожжены, и никакая экспертиза не будет более возможна».

Да.

**Вежливо, хотя и с гримасой легкого раздражения, Троцкий приглашает Рамона в свой кабинет.**

На Троцком — французская крестьянская синяя куртка, в которой он любит возиться в саду. Рамон — в щегольской шляпе, в одной руке — перепечатанная статья, светло-коричневый плащ перекинут через другую руку.

Троцкий садится за письменный стол. На столе — большой блокнот для записей, нож из слоновой кости для разрезания бумаг, лампа в форме гусиной шеи, стопка книг и бумаги, диктофон и автоматический пистолет 0.25 калибра. Троцкий отодвигает какие-то книги в сторону, пистолет перекладывает на край стола. Делая это, он смотрит на Рамона, в остром взгляде на мгновение мелькает подозрение, но он тут же его гасит.

Рамон почтительно улыбается и протягивает Троцкому статью. Он заходит за спину Троцкого слева, как если бы желал посмотреть через его плечо, пока он читает, а на самом деле чтобы не дать ему дотянуться до включателя тревоги. Он кладет плащ на стол, одновременно вынимая ледоруб, держа его за спиленную рукоятку.

Троцкий поправляет очки и начинает читать, слегка хмурится. Выжидая, когда Троцкий будет полностью поглощен чтением, Рамон заносит обеими руками ледоруб над своей головой и ударяет Троцкого в затылок.

Кровь брызжет во все стороны, Троцкий кричит от боли и в гневе. Крик парализует Рамона, ледоруб по-прежнему у него в руке.

Троцкий вскакивает на ноги и швыряет в Рамона книги, чернильницу, диктофон. Взмахи его рук разбрасывают вокруг окровавленные листы бумаги.

Троцкий вырывает ледоруб у Рамона и, как безумный, вцепляется зубами в его руку. Рамон кричит и этим выходит из паралича. Он отпихивает Троцкого, и тот отшатывается в сторону, ослепленный кровью.

Троцкий едва не сталкивается с вбежавшей в кабинет Наташей. «Что случилось?» — кричит она и на мгновение поднимает глаза к потолку посмотреть, не упало ли что сверху.

Троцкий показывает на Рамона.

Она вцепляется в руку Троцкого, оглядывается в гневе и ужасе на Рамона. Его рука, потянувшаяся к пистолету в кармане пальто, замирает.

Наташа помогает Троцкому сделать несколько шагов. Рамон стоит и смотрит на то, что совершил, как будто смотреть на это было важнее, чем бежать.

Троцкий опускается на пол. «Наташа, я тебя люблю».

Она подкладывает ему под голову подушку и начинает вытирать кровь с его лба и щек.

«Смотри, что они с тобой сделали», — говорит Наташа.

«Это конец, Наташа», — говорит Троцкий.

Плача, она целует его лицо.

Вбегают два здоровенных охранника. Они бьют Рамона рукоятками пистолетов. Он не сопротивляется. «Убейте меня», — говорит он.

«Скажи ребятам, чтоб не убивали его, — говорит Троцкий еле слышно. — Нет, нет, его не надо убивать — его надо заставить говорить».

«Они меня заставили это сделать, — молит Рамон. — Они захватили мою мать. Сильвия непричастна... Я не агент Сталина... Это я сам».

Наташа накрывает грудь и ноги Троцкого белой шалью. Она держит обеими руками его окровавленную голову и безутешно рыдает.

Смеясь, хлопая в ладоши, я подскакиваю со стула. Кричу: «Браво! Браво!»

Троцкий-2 встает и профессионально кланяется. Остальные, не актеры, а сотрудники Лубянки, просто замирают в ожидании приказов.

«Ледоруб?» — спрашиваю я Троцкого-2.

«Каучуковый».

«А кровь такая же, что используют в кино? — спрашиваю я.

«Да».

Одобрительно кивнув, я говорю: «Искусство — великая вещь».

Несколько последних забрызганных страниц падают на пол, как перья после погрома.

\* \* \*

Когда я возвращаюсь в Кремль и раздеваюсь, чтобы лечь спать, уже поздно.

Когда я лег в ночь убийства Троцкого и проснулся на следующее утро, я не почувствовал никакого «высшего удовольствия». Я не ощущал триумфа или облегчения, ни даже удовлетворения от хорошего завершения. Было это неделю назад.

Может быть, думал я, я ничего не чувствую, потому что все произошло так далеко. Закодированные телеграммы, фотографии из газет, все только на бумаге.

Первым делом я подумал о киноинсценировке, но нужно так много оборудования, вечные остановки, пересъемки. Поэтому я решил, что пьеса будет лучше, живое безостановочное действие. Сценарий был всецело основан на полицейских и газетных отчетах.

Я натягиваю одеяло к подбородку и выключаю свет. В комнате так темно, что я даже не знаю, открыты ли у меня глаза.

По-прежнему никакого прилива радости в крови, тепла в желудке.

Почему же я все еще ничего не чувствую? Я должен был бы почувствовать муки сожаления — теперь мне не нужно больше желать убийства Троцкого.

Или это последняя попытка Троцкого меня уничтожить — своей смертью он лишил мою жизнь смысла и импульса?

Нет, и не это тоже.

Все очень просто.

Я ничего не чувствую, потому что чувствовать нечего.

Та же пустота, куда уходят все: мой отец, моя мать, мои жены. Мой Троцкий. Мой Ленин.

Пустота, в которую я всегда верил.

В темноте я чувствую запах своих прокуренных усов, когда они двигаются в улыбке.

Теперь я знаю, что действительно значит мое имя: Сталин — это силы терпеть мир, в котором есть только пустота и я сам.

Наконец я превзошел Бога в одиночестве.

# КРОВЬ, ЛЮБОВЬ И ДОСТОЕВСКИЙ

## *Послесловие автора*

Ясным снежным утром в начале марта 1953 года я шел в школу с приятелем. Мы говорили о смерти Сталина. Мне было двенадцать лет. Обычно мы обсуждали наши излюбленные темы — спорт, девочки, экзамены, кинофильмы, но в тот день радиоволны донесли до Бостона весть о смерти тирана, и никакие другие мысли в голову не шли. С изумлением я открыл для себя, что умирают даже такие люди. Наступает конец всему, даже злу. Смерть восстанавливает справедливость.

Как я узнал позже, для русских отношение к смерти Сталина — на выбор: радость, горе или ужас — было знаковым. Но почему это интересовало американского мальчика и почему почти пятьдесят лет спустя он написал очень странный роман «Сталин. Автобиография»? Это двуединый вопрос и, как всегда, на него можно ответить по-разному, и ни один из ответов на один или оба вопроса не будет вполне удовлетворительным.

Первые пять лет моей жизни, 1940—1945, совпали со Второй мировой войной, которая была для меня очень реальной, хотя детское представление о географии размещало Японию сразу за кучами угольного шлака, который сваливали прямо позади нашего многоквартирного дома. Поэтому во время затемнений мне снились кошмары в виде врывающихся в мою комнату, бранящихся, размахивающих мечами и брызжащих слюной японцев (именно так их изображали комиксы). Я собирал металлический лом в помощь фронту, следил за ходом войны по журналу «Лайф» и радиопередачам и со священным трепетом держал в руках немецкие «люгеры» и японские флаги, которые мои родственники привозили с двух театров военных

действий. Зарубежные страны интересовали меня примерно так же, как других мальчиков устройство часов или радио. Вопреки кошмарам, я не сомневался в победе Америки. Я считал свою страну самой мощной, и мне было жаль детей других народов, которые вынуждены салютовать своим унылым флагом, не чета нашему, звездно-полосатому.

Этот патриотизм был в то время свойствен всем американским детям, но отчасти он объяснялся влиянием отца, который эмигрировал в США из России до Первой мировой войны с той волной еврейской эмиграции, что, спасаясь от погромов, мечтала о свободе, безопасности и преуспевании. Ему в Америке нравилось все — от последних технических достижений до правительства. Он неохотно рассказывал о своих юных годах в России, и это лишь разжигало мое детское любопытство. Какая Россия? — спрашивал я. Ужасная, — отвечал он. Отец моей матери, большой любитель водки и икры, — полная противоположность отцу, — обожал рассказывать о России, которая в его устах представляла сказочной страной волков и снегов, цыган и конокрадов. Он одевался как Аль Капоне, курил сигары, каждые шесть месяцев покупал себе новый «кадиллак», а однажды, спасая свою жизнь, убил антисемита сапожным ножом, который привез с собой из России.

В начале пятидесятых годов мне еще больше хотелось понять Россию, нашего злейшего врага, обладавшего уже тогда атомной бомбой. Телевизионные программы показывали фильмы о наводнивших Америку красных шпионах, и я даже начал подозревать отца, который родился во вражеской стране и, как бы ни старался, не мог стать стопроцентным американцем. Сегодня я стыжусь этих глупых подозрений.

К изумлению учителей и ужасу родителей, в шестнадцать лет я решил стать гангстером и, что еще хуже, быстро в этом преуспел. Вскоре я уже приезжал в школу на машине с шофером, в дорогом костюме и в шелковом галстуке ручной работы. Я мог далеко зайти, но вмешательство трех факторов изменило мою жизнь. То были кровь, любовь и Достоевский.



Кровь была моя собственная. Мне всегда удавалось переключать грязную работу на других, но вдруг я случайно оказался в центре схватки двух банд, причем другая сторона была лучше вооружена (молотками и цепями — то были невинные времена, когда школьники еще не носили при себе огнестрельное оружие). Тогда же я влюбился в девушку из Богемии, которая читала Джойса и Фрейда и не желала иметь ничего общего с бандитом вроде меня, хотя в ее мимолетных улыбках угадывались нежные чувства. Испытав шок насилия, опьяненный любовью, я вдруг открыл в себе поэта.

После перерыва в несколько лет я снова начал жадно читать книги. Но из сотен романов и тысяч стихов ничто не пронзило меня с такой силой, как «Преступление и наказание». Книга рождала кошмары, но я не мог отложить ее в сторону. (Я даже старался походить на Раскольникова — отрастил длинные волосы, носил длинное пальто, — во всем, кроме топора.) Понимая, что роман должен быть еще сильнее в оригинале, я решил выучить русский язык; мой дед научил меня несколькими фразами, и мне нравилось их звучание, когда они срывались с кончика моего языка. Переход с английского языка на русский означал, хотя тогда я об этом даже не подозревал, перемену судьбы. Я превратился в странный гибрид — американский автор, пишущий на российские темы, что нормально для историка, хотя меня больше влекла тонкая грань между историей и искусством. Вместо того, чтобы заниматься исследованиями в зеленой и приятной во всех отношениях Англии, я не без труда попал в Москву и далее в Баку, Вильнюс и Ташкент. Попутно я открыл, что по-своему оказались правы и мой отец, и мой дед — в России было нечто и сказочное, и ужасное.

Именно тогда моими мыслями завладел Сталин. Как вообще могла появиться такая личность? Что это значило — быть Сталиным? В поисках ответа на эти вопросы я нелегально в марте 1988 года отправился в Гори, родной город Сталина. (Иностранцам не разрешалось тогда покидать города, указанные в визе, а мой пас-

порт хранился в тбилисской гостинице.) Осмотрев город (колоссальную статую Сталина, домишко его детства, помещенный внутрь храма в греческом стиле, музей «Сталинианы», где были выставлены его табели успеваемости, ручки, трубки и пальто), я подкрепился прекрасной грузинской едой и бутылкой вина в местном ресторане Интуриста. Час спустя, сонный и не вполне трезвый, я был арестован на железнодорожном вокзале. Протрезвевший в рекордно короткое время, я был препровожден милиционером в узкую длинную комнату, где меня поджидали шесть человек в штатском (я предположил, что это КГБ), желавшие выяснить, кто я такой. Старший из них спросил: «У вас нет документов, вы иностранец, говорите по-русски и носите с собой профессиональную кинокамеру — как вы думаете, за кого мы должны вас принять?» Последовавший за этим разговор был малоприятен по многим причинам, не последняя из них состояла в том, что ни один из нас не говорил на родном языке. Я обратил внимание, что многие говорили на далеком от совершенства русском и боялся, что моя судьба может зависеть от неверно понятого слова или чего-то еще в этом роде. Когда разговор старшего становился слишком вялым, он повторял одно и то же по поводу отсутствия у меня документов: «Если, упаси Боже, с вами что-нибудь случится, мы даже не будем знать, куда отправить тело».

У меня было одно важное преимущество — я говорил правду. Я повторял, что я всего лишь американский писатель, который хочет писать о Сталине, осмотреть дом, где прошло его детство, увидеть то, что видел он, выходя по утрам во двор. Профессионал, который целыми днями выслушивает ложь и полуправду, необычайно чувствителен к правде. Это стало важно во второй половине разговора, когда, поверив мне, старший спросил, что я лично думаю об их местном герое Сталине. Похвалить Сталина было необходимо и возможно (терпелив, настойчив, сделал Россию индустриальной, привел страну к победе над нацистами),

но как только я почувствовал, что им кажется, что я перебаршиваю, стараясь спасти свою шкуру, я перешел к негативным оценкам — арестам (скользкая тема, учитывая ситуацию), казням, ГУЛагу. Заметив, как нахмурились их лица, я вернулся к более положительным его качествам и достижениям, список которых быстро истощился.

Даже в тот момент я понимал, что такое выпадает раз в жизни — обсуждать Сталина, находясь под арестом в его родном городе, — вопрос только в том, насколько совпадают понятия «раз» и «жизнь». Но все кончилось благополучно, сердечными рукопожатиями и прощаниями, кроме разве пожеланий увидеться еще раз.

Один испанский художник сказал мне, что мой роман напомнил ему блюдо, которое готовят у него на родине по понедельникам, — все, что остается после выходных, вываливается на черную чугунную сковороду и жарится. Я выслушал эту оценку с улыбкой, лишь чуточку обидевшись на то, что он ничего не сказал о сложной структуре, которая заставляет роман двигаться и жить своей жизнью. Но, если иметь в виду разнообразие ингредиентов, я готов с ним согласиться. В романе есть все — умолчания моего отца, рассказы дедушки, движение моих губ, произносящих первые русские слова, кровь на моих руках после драки, неуловимая улыбка девушки, увлекавшейся Джойсом, затрепанный экземпляр «Преступления и наказания», изданного в серии «Современная библиотека», миллионы слов, переведенных мною с русского на английский, море выпитой попутно водки, шок ареста и беседа с агентами в штатском в родном городе тирана, смерть которого по непонятной причине захватила все помыслы шестиклассника в мартовское снежное утро много лет назад.

## *Послесловие переводчика*

Литература о Сталине бесконечна. В последнее десятилетие XX века только у нас в стране появились книги Роберта Такера, Роя Медведева, Дмитрия Волкогонова, Николая Яковлева — если говорить об историках; из публицистических версий выделяется книга Эдварда Радзинского. Похоже, однако, что новым документам приходит конец. Если только в президентском архиве не осталось больше потайных полок или папок, откуда извлекли недавно протоколы к советско-германскому пакту, само существование которых долгое время отрицалось. Впрочем, находки, конечно, будут. Для этого нужно, чтобы окончательно ушли поколения, прямо или косвенно, политически или идеологически, лично или семейно, так или иначе связанные со сталинской эпохой. Ждать уже недолго, хотя многие не дождутся. Но тут уж ничего не поделаешь — такова история.

Исторические лакуны заполняются медленно, некоторые — никогда, вопреки неустанным усилиям полчищ аспирантов и дипломированных историков. И это понятно: они в большой мере зависят от новых документов и свидетельств. Интерпретация уже известного по природе своей вторична и оспаривается едва ли не каждым новым поколением.

Если есть лакуна между фактом А и фактом Б, то добросовестному историку остается лишь выдвинуть гипотезу, он никогда не отваживается воспроизвести ход мысли того или иного деятеля. К этому следует добавить, что сами источники, кроме «чистых» документов, представляют относительную ценность, а документы нередко намеренно — точнее, злонамеренно — уничтожаются.

Более чем сомнительна надежность газет и публицистики эпохи, а мемуары и письма имеют слишком

личный характер, чтобы доверяться им полностью. Врут или недоговаривают все, даже против своей воли.

Поэтому так заманчиво приложить едва ли не ко всем сочинениям на историческую тему грустный, но выразительный афоризм: истории нет, есть только беллетристика разной степени достоверности.

Раз уж произнесено слово «беллетристика», значит, в процесс постижения истории включаются и писатели. В этом процессе постепенного приближения к истине писатели участвуют с полным правом наравне с учеными, публицистами и мемуаристами. Они-то и отваживаются заполнять указанную выше лауну между общепризнанными фактами.

Они заполняют ее своим художественным воображением, своим видением психологической правды. В их произведениях историческая личность говорит, думает, предполагает, рассчитывает варианты и даже признается в своих ошибках и преступлениях.

Если оставить за скобками «Хлеб» А.Толстого, «Счастье» П.Павленко и прочие культовые атрибуты, то одними из первых живого, думающего Сталина воссоздали А.Рыбаков и Ф.Искандер. Вспомните, как глубоко захватили нас сталинские главки «Детей Арбата» и философский смысл выбора историей между верхнечегемской и нижнечегемской дорогой в «Сандро из Чегема».

Чаще всего писатель подает историческую личность в восприятии реальных или вымышленных современников, в третьем лице. Смелые идут еще дальше. А вот Ричард Лури решается на крайнюю меру: Сталин у него сам пишет свою биографию.

Он делает это, полемизируя с Троцким, который в это же время пишет (вполне реальную) биографию Сталина. Фрагмент за фрагментом разведка доставляет сочинение Троцкого Сталину, готовящему убийство Троцкого. Все три линии сходятся в одной точке: Троцкий убит, его биография Сталина осталась недописанной, и Сталин на этом завершает свою автобиографию.

Метод Ричарда Лури как раз и состоит в заполнении исторических лаун психологической правдой, какой она ему представляется. Сейчас, слава Богу, с читателем

научились обращаться как с человеком, а не слепым котенком. Он способен самостоятельно оценить прочитанное, принять его целиком, принять частично или отвергнуть — исходя из своего здравого смысла, опыта, образования, убеждений. Читатель отлично поймет, что перед ним не научная биография, а художественный автопортрет. Хотелось бы только остановиться на нескольких существенных моментах. (Естественно желание переводчика поделиться теми мыслями, которые возникли у него в процессе работы. Естественно и то, что он никому их не навязывает.)

**Отношение к Ленину.** Начинается оно, разумеется, с преклонения («Горный орел»), в котором вскоре начинают различаться скептические и покровительственные нотки. Поэтому конфликт в последние месяцы жизни Ленина вырос не на пустом месте. Когда Сталин сосредоточил в своих руках всю практическую власть, Ленин превратился для него в досадную помеху. И кульминация конфликта — то, что Сталин именуется словечком *это*, — кажется правдоподобной, тем более, что речь шла о политическом выживании Сталина.

Что касается ленинизма, то Сталин принимает его целиком, со всем набором ленинских формул, знаменовавших собой насилие над историей, особенно над российской историей, макиавеллизм в чистом виде. Вспомним хотя бы «поражение собственного отечества», теорию «перерастания» (преобразованную Лениным из «перманентной революции» Парвуса и Троцкого), «диктатуру пролетариата» в стране с только нарождавшейся современной промышленностью. Сталин позднее закрепит эти формулы в своем катехизисе ленинизма, дополнив их своей чеканной формулой «победы социализма в одной стране», с помощью которой он раздавит оппозицию.

**Сталин и охранка.** Вот лакуна, которая, видимо, никогда не будет заполнена. Если исходить из расхожей мудрости, что дыма без огня не бывает, то версия Лури — скорее Сталин использовал охранку для достижения собственных целей, чем наоборот — имеет право на существование.

**Сталин и западная интеллигенция.** Сталин обладал неоспоримой харизмой, хотя такого слова тогда не существовало, и он мастерски сумел очаровать бесчисленных гостей Советского Союза. В хорошем, но основательно забытом романе Дж.Олдриджа «Дипломат» под его обаяние попадает не только молодой англичанин Макгрегор, но и антисоветски настроенный лорд Эссекс. В романе Лури Сталин слегка ворчит по поводу Бернарда Шоу, но в целом он должен был остаться доволен позицией, занятой «мастерами культуры» Запада, назовем хотя бы Барбюса, Роллана, Фейхтвангера.

Но следует помнить, что Сталину в этом отношении сильно подыграл фашизм, и западная интеллигенция попала, если так можно выразиться, в антифашистскую ловушку. Она была поставлена перед неприемлемым выбором и обязана была поддержать Сталина и Советский Союз, закрыв глаза на процессы 1937–1938 гг.

**Процессы 30-х годов.** В ту же самую ловушку угодили подсудимые Московских процессов. Они признавались в преступлениях в силу вывернутого наизнанку большевизма и антифашизма. По этой логике они, большевики, выступив против Сталина, навредили бы СССР и превратились бы в фашистских наймитов. В конечном счете, это была та же ущербная логика, с которой осуществлялось большевистское насилие над историей.

Остается сказать совсем немного. Цитаты из Сталина и Троцкого — там, где они поддаются проверке — точны. Стилль только изредка стилизован под Сталина, с характерными для него словечками, речевыми приемами, проповедническими повторами. Одна неточность устранена по согласованию с автором: у него в тексте есть высказывание о Сталине Джона Рида с ссылкой к «Десяти дням», хотя известно, что Джон Рид в этой книге упомянул фамилию Сталина только один раз в списке членов первого советского правительства. Автор разъяснил, что это было устное высказывание Джона Рида, впервые приведенное в книге «Московские миражи» Дж.Рубина и повторенное в книге «Сталин и создание Советского Союза» Алекса де Йонга.

**Ричард Лури**  
**СТАЛИН**  
**АВТОБИОГРАФИЯ**  
*Роман*

Пер. с англ. А.А.Файнгара

*Редактор*  
И.В.Захаров

*Корректор*  
Н.Н.Яковлева

*Обложка*  
А.В.Кокорекин

*Верстка*  
К.А.Лачугин

Издатель Захаров

Лицензия ЛР № 065779 от 1 апреля 1998 года.  
Адрес: 103104, Москва, Сыгинский тупик, 6—2.  
(Рядом с Пушкинской площадью)  
Телефон: 203-0382  
Директор: Ирина Евгеньевна Богат

Подписано в печать 26.01.2000. Формат 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Гарнитура Таймс.  
Печать офсетная. Объем 9,5 п. л. Тираж 11 000 экз. Изд. № 62. Заказ № 619.

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в ПФ «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»  
103473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16.  
OCR - Давид Титиевский, март 2017 г., Хайфа

ISBN 5-8159-0062-1



9 785815 900622





*«...Выдающаяся личность,  
каких никогда не забывает  
история и народ».*

*У.Черчилль в палате общин в 1959 году*

*«Мастерски выполняя задачи  
вождя партии и народа и имея полную  
поддержку всего советского народа,  
Сталин, однако, не допускал в своей  
деятельности и тени самомнения,  
заснайства, самолюбования.*

*В своем интервью немецкому писателю  
Людвигу, где он отмечает великую роль*

*Ленина в деле преобразования*

*, Сталин просто заявляет о себе:*

*«...касается меня, то я только*

*ученик Ленина, и моя цель*

*быть достойным его учеником».*

*Из биографии И.В.Сталина, 1947 год*



29349

Сталин Луиза

28

03.04.2000